

Электронная версия книги: [Янко Слава](#) (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru ||
yanko_slava@yahoo.com || <http://yanko.lib.ru> || Icq# 75088656 || Библиотека:
<http://yanko.lib.ru/gum.html> || Номера страниц - внизу
update 06.05.07

ГЕНРИ МИЛЛЕР ТРОПИК РАКА

ББК 84.7 (США) М59

Перевод с английского *Г. Егорова* Художник *Николай Сажин* Редактор *Елена Щербатова* Технический редактор *Вера Молоткова* Корректор *Лидия Привалова* Оригинал-макет *Александр Ульянов*

Издательство "Библиотека Звезды". 191028, Санкт-Петербург, Моховая, 20. Отпечатано с готовых диапозитивов на АП "Светоч". Зак. 000. 197198, Санкт-Петербург, ул. Б. Пушкарская, 10.

© Составление оформление — "Библиотека Звезды", 1992.

© Рисунки — Николай Сажин, 1992.

Электронное оглавление

Электронное оглавление.....	1
ЭТОТ АМОРАЛЬНЫЙ, ПОРОЧНЫЙ, ПРЕКРАСНЫЙ РОМАН ГЕНРИ МИЛЛЕРА	2
ГЕНРИ МИЛЛЕР. ТРОПИК РАКА.....	3
I	3
2	8
3	9
4	12
5	15
6	17
7	21
8	32
9	36
10	41
11	44
12	49
13	52
14	54

ЭТОТ АМОРАЛЬНЫЙ, ПОРОЧНЫЙ, ПРЕКРАСНЫЙ РОМАН ГЕНРИ МИЛЛЕРА

"На долю Миллера досталось немало похвал, в том числе и от таких магараджей литературы, как Томас Элиот, Эзра Паунд, Эдмунд Уилсон. Паунд ограничился замечанием, шедшим в самый корень: " Вот неприличная книжка, заслуживающая того, чтобы ее читали". Элиот, который даже у Шелли видел сатанинское начало, стал, однако, поклонником Миллера и даже послал автору письмо (хотя и не выступил все же публично). Уилсон был автором одной из первых хвалебных (и, разумеется, накрахмаленных) рецензий на "Тропик Рака". Джордж Оруэлл написал в своем прекрасном очерке: "Это роман человека, который счастлив", – а для Оруэла счастье было едва ли не первой добродетелью. И далее:

"Это единственный оригинальный прозаик из всех появившихся за последние годы в англоязычных странах, который представляет собой определенную ценность".

Да, похвал, и самых громких, было немало. Норман Мейлер, столь заботливо собравший их в своей статье, добавил к ним далеко не худшие. "Миллер начал там, где остановился Хемингуэй, – писал он. – Мы читаем "Тропик Рака", эту книгу грязи, и нам становится радостно. Потому что в грязи есть сила, и в мерзости – метафора. Каким образом – сказать невозможно".

Да, похвал и славы было много, но – потом. А вначале была трудная жизнь, нужда и хула, хула...

В молодости Миллер и не помышлял о писательской славе. Он много путешествовал по Америке. В начале двадцатых – ему было уже за тридцать – оказался в Париже. Мейлер пишет: "Ему почти тридцать. Через несколько лет Хемингуэй напишет "Фиесту", а Фицджеральд "Великого Гэтсби" – оба писателя так много уже сделали к тридцати годам, а Миллеру к тридцати удалось добиться лишь того, что его взяли на телеграф одним из управляющих (Миллер "управлял" мальчишками-курьерами. – *B.K.*)".

Тем не менее именно тут по-настоящему начинается его литературный путь. И его сексуальный путь тоже. Никогда еще литература не знала подобного симбиоза. Миллер, может быть, единственный писатель во всей истории литературы, о котором можно сказать, что, если бы не его сексуальные чудеса, не было бы, пожалуй, и его литературных чудес. И с другой стороны, если бы не его успех как писателя, неизвестно, сохранил бы он так долго свою жизнеспособность как мужчина".

"Тропик Рака" впервые был опубликован в Париже в 1934 году. И сразу же вызвал немалый интерес (несмотря на ничтожный тираж). "Едва ли существуют две другие книги, – писал позднее Георгий Адамович, о которых сейчас было бы больше толков и споров, чем о романах Генри Миллера "Тропик Рака" и "Тропик Козерога". К сожалению, людей, которым роман нравился, было куда больше, чем тех, кто решался об этом заявить вслух. А уж чтобы напечатать его на родине... Первая волна популярности поднялась там лишь спустя десятилетие, когда американские солдаты, оказавшись в Париже, на корню раскупили весь его английский тираж. Но минуло еще полтора десятилетия прежде, чем его все-таки решились издать в Штатах, да и то – издателям пришлось выдержать больше полусотни судебных процессов. Разумеется, по обвинению в растлении нравов! Впрочем, все это только ускорило покорение Америки прозою Генри Миллера. Нынче о ней написаны тома исследований, она изучается в университетах, постоянно переиздается, и трудно найти библиотеку или книжную лавку, где не было бы романов "Тропик Рака" и "Тропик Козерога".

На русском "Тропик Рака" впервые был опубликован все в том же Париже, в 1964 году тиражом всего в две сотни экземпляров, больше половины которых попытались было вывезти в Союз, но таможня сию крамолу перехватила и уничтожила. Разумеется, как порнографию. Хотя трудно придумать нечто более далекое от порнографии, чем проза Миллера.

Владимир Канторин

ГЕНРИ МИЛЛЕР. ТРОПИК РАКА



Эти романы постепенно уступят место дневникам и автобиографиям, которые могут стать пленительными книгами, если только человек знает, как выбрать из того, что он называет своим опытом, то, что действительно есть его опыт, и как записать эту правду собственной жизни правдиво.

Ральф Уолдо Эмерсон

I

Я живу на вилле Боргезе. Кругом – ни соринки, все стулья на местах. Мы здесь одни, и мы – мертвецы.

Вчера вечером Борис обнаружил вшей. Пришлось побрить ему подмышки, но даже после этого чесотка не прекратилась. Как это можно так завшиветь в таком чистом месте? Но не суть. Без этих вшей мы не сошлись бы с Борисом так коротко.

Борис только что изложил мне свою точку зрения. Он – предсказатель погоды. Непогода будет продолжаться, говорит он. Нас ждут не-

11

слыханные потрясения, неслыханные убийства, неслыханное отчаяние. Ни малейшего улучшения погоды нигде не предвидится. Рак времени продолжает разъедать нас. Все наши герои или уже прикончили себя, или занимаются этим сейчас. Следовательно, настоящий герой – это вовсе не Время, это Отсутствие времени. Нам надо идти в ногу, равняя шаг, по дороге в тюрьму смерти. Побег невозможен. Погода не переменится.

Это уже моя вторая осень в Париже. Я никогда не мог понять, зачем меня сюда принесло.

У меня ни работы, ни сбережений, ни надежд. Я – счастливейший человек в мире. Год назад, даже полгода, я думал, что я писатель. Сейчас я об этом уже не думаю, просто я писатель. Все, что было связано с литературой, отвалилось от меня. Слава Богу, писать книг больше не надо.

В таком случае как же рассматривать это произведение? Это не книга в привычном смысле слова. Нет! Это затяжное оскорбление, плевок в морду Искусству, пинок под зад Богу, Человеку, Судьбе, Времени, Любви, Красоте... всему чему хотите. Я буду петь, пока вы подыхаете; я буду танцевать над вашим грязным трупом...

12

Но чтобы петь, нужно открыть рот. Нужно иметь пару здоровых легких и некоторое знание музыки. Не существенно, есть ли у тебя при этом аккордеон или гитара. Важно желание петь. В таком случае это произведение – Песнь. Я пою.

Я пою для тебя, Таня. Мне хотелось бы петь лучше, мелодичнее, но тогда ты, скорее всего, не стала бы меня слушать вовсе. Ты слыхала, как пели другие, но тебя это не тронуло.

Сегодня двадцать какое-то октября. Я перестал следить за календарем. В нем есть пробелы, но это пробелы между снами, и сознание скользит мимо них. Мир вокруг меня растворяется, оставляя тут и там островки времени. Мир – это сам себя пожирающий рак... Я думаю, что, когда на все и вся снизойдет великая тишина, музыка наконец восторжествует. Когда все снова всосется в матку времени, хаос вернется на землю, а хаос – партитура действительности. Ты, Таня, – мой хаос. поэтому-то я и пою. Собственно, это даже и не я, а умирающий мир, с которого сползает кожура времени. Но я сам еще жив и барахтаюсь в твоей матке, и это моя действительность.

13

Дремлю... Физиология любви. Отдыхающий кит со своим двухметровым пенисом. Летучая мышь – penis libre. Животные с костью в пенисе. Следовательно, "костостой"... "К счастью, – говорит Гурмон, – костяная структура утрачена человеком". К счастью? Конечно, к счастью. Представьте себе человечество, ходящее с костостоем. У кенгуру два пениса – один для будней, другой для праздников. Дремлю... Письмо от женщины, спрашивающей меня, нашел ли я название для моей книги. Название? Конечно: "Прекрасные лесбиянки".

Ваша анекдотическая жизнь. Это фраза господина Боровского. Я завтракал с ним в среду. Его жена – высохшая корова – во главе стола. Она учит сейчас английский. И ее любимое слово – "filthy", что значит "грязный", "отвратительный", "мерзкий". Вам не понадобится много времени, что?" разобраться, что это за язвы на заднице, эти Боровские. Но подождите...

Боровский носит плисовые костюмы и играет на аккордеоне. Неотразимое сочетание, особенно если учесть, что он неплохой художник. Он уверяет, что он поляк, но это, конечно, неправда. Он – еврей, этот Боровский, и его отец был филателистом. Вообще весь Монпарнас – сплошные евреи. Или полуевреи, что даже хуже. И Карл, и Пола, и Кронstadt, и

14

Борис, и Таня, и Сильвестр, и Молдорф, и Люсиль. Все, кроме Филмора. Генри Джордан Освальд тоже оказался евреем. Луи Николь – еврей. Даже ван Норден и Шери – евреи. Фрэнсис Блейк – еврей или еврейка. Титус – еврей. Я засыпан евреями, как снегом. Я пишу это для своего приятеля Карла, отец которого тоже еврей. Это все необходимо понять.

Из всех этих евреев самая очаровательная – Таня, и ради нее я бы сам стал евреем. А почему нет? Я уже говорю, как еврей. Я безобразен, как еврей. Кроме того, кто может ненавидеть евреев так, как еврей?

Жратва – вот единственное, что доставляет мне ни с чем не сравнимое удовольствие. А на нашей великолепной вилле Боргезе не найдешь даже завалающей корочки. Я много раз просил Бориса заказывать хлеб к завтраку, но он всегда забывает. Он, очевидно, завтракает не дома. Возвращаясь, он ковыряет в зубах, и в его эспаньолке – остатки яйца. Оказывается, он ходит в ресторан из деликатности – ему, видите ли, тяжело упisyывать сытный завтрак на моих глазах.

Взяв машинку, я перешел в другую комнату. Здесь я могу видеть себя в зеркале, когда пишу.

15

Таня похожа на Ирен. Ей нужны толстые письма. Но есть и другая Таня. Таня – огромный плод, рассыпающийся вокруг свои семена, или, скажем, фрагмент Толстого, сцена в конюшне, где закапывают младенца. Таня – это лихорадка, стоки для мочи, кафе "Де ла Либерте", площадь Вогезов, яркие галстуки на бульваре Монпарнас, мрак уборных, сухой портвейн, сигареты "Абдулла", Патетическая соната, звукоусыплители, вечера анекдотов, груди, подкрашенные сиеной, широкие подвязки, "который час?", золотые фазаны, фаршированные каштанами, дамские пальчики, туманные, сползающие в ночь сумерки, слоновая болезнь, рак и бред, теплые покрывала, покерные фишки, кровавые ковры и мягкие бедра... Таня говорит так, чтобы ее все слышали: "Я люблю его!" И пока Борис сжигает свои внутренности виски, она произносит целую речь, обращенную к нему: "Садитесь здесь ...О Борис... Россия... Что я могу поделать?! Я полна ею!"

Ночью, глядя на эспаньолку Бориса, лежащую на подушке, я начинаю хохотать... О Таня, где сейчас твоя теплая п...нка, твои широкие подвязки, твои мягкие полные ляжки? В моей палице кость длиной шесть дюймов. Я

16

разглажу все складки и складочки между твоих ног. моя разбухшая от семени Таня... Я пошлю тебя домой к твоему Сильвестру с болью внизу живота и с вывернутой наизнанку маткой... Твой Сильвестр! Он знает, как развести огонь, а я знаю, как заставить его гореть. Я вливаю в тебя горячие струи. Таня, я заряжаю твои яичники белым огнем. Твой Сильвестр немного ревнует тебя? Он что-то заподозрил? Что-то чувствует? Он чувствует в тебе. Таня, следы моего большого члена. Я разутюжил твои бедра, разгладил все морщинки между ногами. После меня ты можешь свободно совокупляться с жеребцами, баранами, селезнями, сенбернарами. Ты можешь засовывать лягушек, летучих мышей и ящериц в задний проход. Ты можешь срать, точно играть арпеджио, а на пупок натягивать струны цитры. Когда я е... тебя, Таня, я делая это всерьез и надолго. И если ты стесняешься публики, то мы опустим занавес. Но несколько волосков с твоей п...нки я наклею на подбородок Бориса. И я вгрызусь в твой секель и буду сплевывать двухфранковые монеты...

Проблема в том, что у Ирен не обыкновенное влагалище, а саквояж, и его надо набивать толстыми письмами. Чем толще и длиннее, тем

17

лучше: avec des choses inouies¹. Вот Илона – это просто воплощенная манда. Я знаю это, потому что она прислала нам несколько волосков с нее. Илона – дикая ослица, вынюхивающая наслаждения. На каждом холме она разыгрывала блудницу, а иногда и в телефонных будках и в клозетах. Она купила кровать для короля Карола и кружку для бритв с его инициалами. Она лежала в Лондоне на Тоттнем-роуд и, задрав юбку, дрочила. В ход шло все – свечи, шутихи, дверные ручки. Во всей стране не было ни одного фаллоса, который подошел бы ей по размерам—Ни одного. Мужчины влезали в нее целиком и сворачивались калачиком. Ей нужны были раздвижные фаллосы – не фаллосы, а самрывывающиеся ракеты, кипящее масло с сургучом и креозотом. Она бы отрезала вам член и оставила его в себе навсегда, если бы ей только позволили. Это была одна пизда из миллиона, эта Илона! Лабораторный экземпляр – и вряд ли на свете найдется лакмусовая бумага, с помощью которой можно было бы воспроизвести ее цвет. К тому же она была врунья. Она никогда не покупала кровать своему королю Каролу.

¹ Неслыханных размеров (франц.).

18



Она короновала его бутылкой из-под виски по голове, и ее глотка была полна лжи и фальшивых обещаний. Бедный Карол... он мог только свернуться калачиком внутри нее и помереть там. Она вздохнула – и он выпал, оттуда, как дохлый моллюск. Огромные толстые письма, avec des choses inoui'es. Саквойж без ручек. Скважина без ключа. У нее был немецкий рот, французские уши и русская задница. Пизда – интернациональная. Когда поднимался ваш флаг, она краснела до макушки. Вы входили в нее на бульваре Жюля Ферри, а выходили у Порт-де-Вилле. Вы набрасывали свои потроха на гильотинную повозку – красную повозку и, конечно, с двумя колесами. Есть одно место, где сливаются реки Марна и Урк, где вода, сползши с плотины, застывает под мостами точно стекло. Там сейчас лежит Илона, и канал забит стеклом и щепками; плачут мимозы, и окна запотели туманным бзджеком. Илона – единственная из миллиона! .. и стеклянная задница, в которой вы можете прочесть всю историю средних веков.

Я условился сам с собой: не менять ни строчки из того, что пишу. Я не хочу пригла-

20

живать свои мысли или свои поступки. Рядом с совершенством Тургенева я ставлю совершенство Достоевского. (Есть ли что-нибудь более совершенное, чем "Вечный муж"?) Значит, существуют два рода совершенства в одном искусстве. Но в письмах Ван Гога совершенство еще более высокое. Это – победа личности над искусством.

Телефонный звонок прерывает мои размышления, которые я все равно не довел бы до конца. Звонит некто, желающий снять квартиру...

Кажется, моя жизнь на вилле Боргезе подходит к концу. Ну что ж, я возьму эти листки и пойду дальше. Жизнь будет продолжаться везде и повсюду. Куда бы я ни пришел, везде будут люди со своими драмами. Люди как вши – они забираются под кожу и остаются там. Вы чешетесь и чешетесь – до крови, но вам

никогда не избавиться от этих вшей. Куда бы я ни сунулся, везде люди, делающие ералаш из своей жизни. Несчастье, тоска, грусть, мысли о самоубийстве – это сейчас у всех в крови. Катастрофы, бессмыслица, неудовлетворенность носятся в воздухе. Чешись сколько хочешь, пока не сдерешь кожу. На меня это

21

производит бодрящее впечатление. Ни подавленности, ни разочарования – напротив, даже некоторое удовольствие. Я жажду новых аварий, новых потрясающих несчастий и чудовищных неудач. Пусть мир катится в тартарары. Пусть человечество зачешется до смерти.

Я живу сейчас в таком бурном темпе, что мне даже трудно делать эти отрывочные заметки. После телефонного звонка явился какой-то господин с женой. Пока велись переговоры, я поднялся наверх и прилег. Вытянувшись на кровати, я думал о том, что мне делать. Не идти же назад в постель к этому педерасту и всю ночь выковыривать хлебные крошки, попавшие между пальцами ног. Какой тошнотворный маленький сукин сын! Если в мире есть кто-нибудь хуже педераста, то это только скряга. Запуганный жалкий ублюдок, постоянно живущий под страхом остаться без денег – может быть, к восемнадцатому марта и уж наверняка к двадцать пятому мая. Кофе без молока и без сахара. Хлеб без масла. Мясо без соуса или вообще без мяса. И без того и без этого! Грязный, паршивый выжига. Я однажды открыл его шкаф и нашел там деньги, запрятанные в носок. Больше двух

22

тысяч франков плюс еще чеки. Я бы простили даже это, если бы не кофейная гуща на моем берете, отбросы на полу, не говоря уже о банках с кольдкремом, сальных полотенцах и вечно засоренной раковине. Уверяю вас, что от этого маленького подлеца шел смрад, пока он не обливался одеколоном. У него были грязные уши, грязные глаза, грязная задница. Это был расхлябанный, астматичный, завшивевший мелкий пакостник. Но я бы ему все простили за приличный завтрак! Однако чего можно ждать от человека, у которого запрятаны две тысячи франков в грязном носке и который отказывается носить чистую рубашку и мазать хлеб маслом. Такой человек не только педераст и скряга, но к тому же и слабоумный.

Впрочем, хватит о педерасте. Я должен держать ухо востро и знать, что происходит внизу. Там – некий мистер Рен с супругой. Они пришли посмотреть квартиру. Они говорят, что хотели бы ее снять; слава Богу, пока только говорят.

Борис зовет меня вниз, чтобы представить. Он потирает руки, точно ростовщик. Они обсуждают рассказ мистера Рена, рассказ о хромой лошади.

– А я думал, что мистер Рен – художник...

23

– Совершенно верно, – говорит Борис, подмигивая мне. – Но зимой он пишет, и пишет удивительно неплохо.

Я стараюсь втянуть мистера Рена в разговор – все равно о чем, пусть даже о хромых лошадях. Но мистер Рен почти косноязычен.

Борис сует мне деньги, чтоб я сходил за выпивкой. Я пьянею, уже пока иду за ней. И я точно знаю, что скажу, когда вернусь. Я иду по улице, и во мне бульбулькает приготовленная речь вроде разболтанного смеха миссис Рен. Мне кажется, что она в легком подпитии. В таком состоянии она, вероятно, хороший слушатель. Выходя из винной лавки, я слышу звук текущей мочи. Весь мир – в текучем состоянии. Мне хочется, чтобы миссис Рен меня выслушала...

Зажав бутылку между ног и подставив лицо солнцу, плещущему в окно, я снова переживаю прелест тех первых тяжелых дней, когда я попал в Париж. РаSTERянный и нищий, я бродил по парижским улицам, как неприкаянное привидение на веселом пиру. Внезапно все подробности того времени всплывают в памяти – неработающие уборные; князь, чистящий мои туфли; кинотеатр "Спландид", где я спал на чужом пальто; решетки на окнах; чувство удушья; жирные тараканы; пьянство и

24

дуракавляние. Танцы на улицах на пустой желудок, а. иногда визиты к странным людям вроде мадам Делорм. Как я попал к мадам Делорм, я сейчас даже не могу себе представить. Но как-то я все-таки проскочил мимо лакея у дверей и горничной в кокетливом белом передничке и вперся прямо во дворец в своих плисовых штанах без единой пуговицы на ширинке и в охотничей куртке. Даже и сейчас я вижу золото этой комнаты и мадам Делорм в костюме мужского покроя, восседающую на каком-то троне, золотых рыбок в аквариуме, старинные карты, великолепно переплетенные книги; чувствуя ее тяжелую руку на своем плече и помню, как она меня слегка даже испугала своей тяжелой лесбийской ухваткой. Но насколько приятнее было болтаться в человеческой похлебке, льющейся мимо вокзала Сен-Лазар – шлюхи в подворотнях;

бутылки с сельтерской на всех столах; густые струи семени, текущие по сточным канавам. Что может быть лучше, чем болтаться в этой толпе между пятью и семью часами вечера, преследуя ножку или крутое бюст или просто плывя по течению и чувствуя легкое головокружение. В те дни я ощущал странную удовлетворенность: ни свиданий, ни приглашений на обед, никаких обязательств и ни гроша в

25

кармане. Золотое время, когда у меня не было ни одного друга. Каждое утро – безнадежная прогулка в банк "Америкен экспресс", и каждое утро – неизменный ответ банковского клерка. Я ползал тогда по городу, как клоп, собирая окурки, иногда застенчиво, а иногда и нахально; сидел на садовых скамейках, втягивая живот, чтобы остановить его нытье, или бродил По Тюильри, глядя на безмолвные статуи, вызывавшие у меня эрекцию...

Всего только год назад Мона и я каждый вечер, расставшись с Боровским, бродили по улице Бонапарта. Площадь Сен-Сюльпис, как и все в Париже, ничего тогда для меня не значила. Я отупел от разговоров и от человеческих лиц, меня тошило от соборов, площадей, зоологических садов и прочей дребедени. Сидя в красной спальне в неудобном плетеном кресле, от которого изнывала моя задница, я поднимал книгу, смотрел на красные обои и слушал беспрерывный говор вокруг... Я помню эту красную спальню и всегда открытый сундук с ее платьями, разбросанными повсюду в кошмарном беспорядке. Красная спальня с моими галошами, тростями, записными книжками, к которым я даже не прикасался, и холодными мертвыми рукописями... Париж! Это был Париж кафе "Селект", кафе

26

"Дом", Блошиного рынка, банка "Америкен экспресс", Париж! Тросточки Боровского, его шляпы, его гуаши, его доисторическая рыба и доисторические же анекдоты. Из всего этого Парижа двадцать восьмого года только один вечер отчетливо вырисовывается в моей памяти – вечер, когда я уезжал в Америку. Удивительная ночь с подвыпившим Боровским, дующимся на меня за то, что я танцую с каждой потаскушкой. Но ведь мы уезжаем в Америку завтра утром! Я говорил это каждой встречной бабе – уезжаем завтра утром! Я говорил это блондинке с агатовыми глазами. А пока я это говорил, она взяла мою руку и зажала ее между своими ляжками. В уборной я стою над писсуаром с монументальной эрекцией, и мой фаллос кажется мне одновременно и тяжелым и легким, как кусок свинца с крыльями. И пока я вот так стою, вваливаются две американки. Я вежливо приветствую их с членом в руке. Они подмигивают мне и уходят. Уже в умывальной, застегивая ширинку, я снова вижу одну из них, поджидающую свою подругу, которая все еще в уборной. Музыка долетает сюда из зала, и каждую минуту может появиться Мона, чтобы забрать меня, или Боровский со своей тростью с золотым набалдашником, но я уже в руках этой женщины, она меня

27

держит, и мне все равно, что произойдет дальше. Мы заползаем в клозет, я ставлю ее у стены и пытаюсь вставить ей, но у нас ничего не получается. Мы садимся на стульчик, пытаемся устроиться таким способом, – и опять безуспешно. Как мы ни стараемся, ничего не выходит. Все это время она сжимает мой член в руке, как якорь спасения, но тщетно – мы слишком возбуждены. Музыка продолжает играть, мы вальсируем с ней из клозета в умывальную и танцуем там, и вдруг я спускаю прямо ей на платье, и она приходит от этого в ярость. Пошатываясь, я возвращаюсь к столу, а там сидят румяный Боровский и Мона, которая встречает меня строгим взглядом. Боровский говорит: "Слушайте, едем все завтра в Брюссель!" Мы соглашаемся. Когда я вернулся в отель, у меня началась рвота. Я заблевал все – кровать, умывальник, костюмы и платья, галоши, нетронутые записные книжки и холодные мертвые рукописи.

И вот несколько месяцев спустя – та же гостиница.

Я опять в той же комнате и, спасибо Евгению, с пятьюдесятью франками в кармане. Я смотрю во двор, но граммофон умолк. Сундук открыт, и вещи Моны разбросаны, как и раньше. Она ложится на кровать, не раздеваясь.

28

Один, два, три, четыре... Я боюсь, что она сойдет с ума... Как хорошо опять чувствовать в постели под одеялом ее тело. Но надолго ли? Будет ли это навсегда? У меня предчувствие, что не будет.

Она говорит так лихорадочно и быстро, словно не верит, что завтра опять будет день. "Успокойся, Мона. Просто смотри на меня и молчи". В конце концов она засыпает, и я вытаскиваю из-под нее свою руку. Мои глаза слипаются... Ее тело – рядом со мной, и оно будет тут... во всяком случае до утра... Это было в феврале, в порту; метель слепила мне глаза; мы расставались. В последний раз я увидел ее уже в иллюминатор каюты; она махала мне на прощанье рукой... На углу на другой стороне улицы стоял человек в шляпе, надвинутой на глаза. Его жирные щеки лежали на отворотах пальто. Мерзкий недоносок, тоже провожавший меня, недоносок с сигарой во рту. Мона, машущая мне рукой... Бледное печальное лицо, непокорные волосы на ветру. Но сейчас – эта печальная комната и она, ее ровное дыхание, влага, все еще сощающаяся у нее между ног, теплый кошачий запах, и ее волосы у меня во рту. Мои глаза закрыты. Мы ровно дышим в лицо друг другу. Мы так близко, и мы – вместе. Америка за три тысячи миль

29

от нас. Это просто чудо, что она здесь, в моей постели, дышит на меня и что ее волосы у меня во рту. До утра ничего уже не может случиться.

Я просыпаюсь после глубокого сна и смотрю на нее. Тусклый свет пробивается в окно. Я смотрю на ее чудесные непокорные волосы и чувствую, как что-то ползет у меня по шее. Я смотрю на нее опять. Ее волосы – живые. Я отворачиваю простыню – здесь их еще больше. Они расползлись по всей подушке.

На заре мы быстро собираемся и выскользываем из гостиницы. Все кафе еще закрыты. Мы идем по улице и чешемся.

Мона голодна. На ней тонкое платье. Ничего у нее нет, кроме вечерних накидок, флакончиков с духами, варварских сережек, браслетов и помад. Мы садимся в бильярдной на авеню Мэн и заказываем кофе. Уборная не работает. Пока мы найдем другую гостиницу, пройдет какое-то время. Мы сидим и вытаскиваем клопов из волос друг у друга. Мона нервничает. У нее лопается терпение. Ей нужна ванна. Ей нужно то, нужно это. Нужно, нужно, нужно...

– Сколько у тебя денег?

Деньги! Я совершенно забыл о них.

30

Отель "Соединенные Штаты". Лифт. Когда мы ложимся спать, еще совсем светло. Встаем в темноте, и первое, что мне надо сделать сейчас, – это найти деньги на телеграмму в Америку. Телеграмму недоноску с мокрой сигарой во рту. Но как бы то ни было, а на бульваре Распай есть испанка, которая никогда не откажется в горячей еде. К утру что-нибудь да случится. По крайней мере мы опять будем спать вместе. Без клопов. Грядет дождливый сезон. Простыни – без единого пятнышка... "

2

Новая жизнь начинается для меня на вилле Боргезе. Сейчас только десять часов, а мы уже позавтракали и даже прогулялись. Теперь у нас в доме живет некая особа по имени Эльза. "Не валяй дурака, хотя бы несколько дней", – предупредил меня Борис.

День начался великолепно: яркое небо, свежий ветер, чисто вымытые дома. По пути на почту мы с Борисом обсуждаем книгу. "Последнюю книгу". Она будет написана анонимно.

Так вот, у нас появилась Эльза. Она играла для нас сегодня утром, пока мы были в посте-

31

ли. "Не валяй дурака, хотя бы несколько дней". Я согласен. Эльза – горничная, я – гость. Борис – важная персона. Начинается новая эпопея. Я смеюсь, пока все это пишу. Борис, эта лиса, знает, что должно случиться. У него нюх на такие вещи. "Не валяй дурака..."

Борис как на иголках. В любой момент может появиться его жена. Она весит больше восьмидесяти килограммов, эта дама. Борис весь умещается у нее на ладони. Такова ситуация. Он объясняет мне все это, когда мы возвращаемся вечером домой. Все, что он Говорит, трагично, но и смешно, и я не могу сдержаться и смеюсь ему в лицо. "Почему ты смеешься?" – спрашивает Борис серьезно, но тут же начинает смеяться сам; он смеется со всхлипами, истерическими взвизгами, смеется, как беспомощный мальчик, который понимает, что, сколько бы он ни напялил на себя сюртуков, из него никогда не получится настоящий мужчина. Борис мечтает сбежать и изменить имя. "Пусть эта корова забирает все, – хнычет он, – только пусть оставит меня в покое". Но прежде ему надо сдать квартиру, подписать документы и выполнить тысячи формальностей, для чего он и держит сюртук. Размеры этой женщины грандиозны. Они-то и пугают его более всего прочего. Если бы он

32

вдруг увидел ее сейчас стоящей на ступенях, то, вероятно, упал бы в обморок. Вот как он ее уважает!

Итак, не надо валять дурака с Эльзой. Она тут для того, чтобы готовить завтрак и показывать квартиру будущим постояльцам.

Но Эльза деморализует меня. Немецкая кровь. Меланхолические песни. Сходя по лестнице сегодня утром, с запахом кофе в ноздрях, я уже напевал: "Es war so schön gewesen"¹. Это к завтраку-то! И потом этот молодой человек наверху со своим Бахом. Эльза говорит:

"Ему нужна женщина". Эльзе тоже кое-что нужно. Я это чувствую. Я не сказал Борису, но сегодня утром, пока он чистил зубы, она рассказывала мне про Берлин и тамошних женщин, которые очень аппетитны сзади, а повернутся – и, пожалуйте, сифилис!

Мне кажется, что Эльза посматривает на меня с тоской, как на остатки от завтрака. Сегодня, после обеда, мы оба пошли в студию, чтобы кое-что написать. Мы сидели спина к спине за нашими пишущими машинками. Она начала письмо своему любовнику в Италии, но у нее засело машинку. Бориса не было дома

¹ Это было бы так прекрасно (нем.).

33

он ушел на поиски дешевой комнаты, куда тут же переберется, когда сдаст квартиру. Ничего не оставалось делать, как подъехать к Эльзе. Она этого хотела, но все-таки мне было ее немного жалко. Она написала только одну строчку своему любовнику – я прочел ее, когда нагибался к ней сзади. Но ничего не поделаешь. Это все проклятая немецкая музыка, сентиментальная и грустная. Она расслабляет меня. А потом – эти ее бисерные глазки, такие горячие и печальные одновременно.

Когда все было кончено, я попросил Эльзу сыграть что-нибудь для меня. Она музыкантша, эта Эльза, хотя ее музыка и звучит так, точно кто-то бьет горшки. Что ж, я ее понимаю. Она говорит, что везде с ней случается одно и то же. Везде ее подстерегает мужчина, в результате ей приходится бросать место; потом аборт; потом новое место и новый мужчина, и всем насытить на нее с высокого дерева, все хотят только пользоваться ею. Все это она говорит мне, сыграв Шумана – Шумана, этого плаксивого сентиментального немецкого нытика! Мне жалко Эльзу, но в то же время наплевать на нее – баба, которая играет Шумана, должна уметь не попадаться на каждый встречный поц. Но этот Шуман... он хватает меня за душу, отвлекает от скулящей Эльзы, и

34

мои мысли уносятся в прошлое. Я думаю о Тане, о своей жизни и о том, что безвозвратно кануло в Лету. Я вспоминаю летний день в Гринпойнте, когда немцы громили Бельгию, а мы, американцы, еще были достаточно богаты, чтоб не думать о судьбе какой-то нейтральной Бельгии. Мы были еще настолько наивны, что слушали поэтов и сидели вокруг спиритических столов, "выступивая" духов. Воздух был напоен немецкой музыкой – ведь все это происходило в немецком районе Нью-Йорка, более немецком, чем сама Германия. Мы выросли там на Шумане, на Гуго Вольфе, на кислой капусте, кюммеле и картофельных kleckах... Я помню, в тот же вечер был устроен очередной спиритический сеанс, и мы сидели за большим

столом. Занавески были опущены, и какая-то дура пыталась вызывать дух Иисуса Христа. Мы держались за руки под столом, и моя соседка запустила два пальца в ширинку моих брюк. потом я помню, как мы лежали на полу за пианино, пока кто-то пел унылую песню... Я помню давящий воздух комнаты и сивушное дыхание моей партнерши. Я смотрел на педаль, двигавшуюся вниз и вверх с механической точностью – дикое, ненужное движение. Потом я посадил свою партнершу на себя и уперся ухом в резонатор пианино. В

35

комнате было темно, и ковер был липким от пролитого кюмеля... Дальше все было в каком-то тумане... Мне казалось, что светает, что вода переливается через синий лед, над которым висит туманная дымка, что глетчеры ползут в изумрудную синеву, что серны и антилопы проносятся мимо, золотые сомы щиплют водоросли и моржи прыгают через Полярный круг...

Эльза сидит у меня на коленях. Ее глаза – как пупки. Я смотрю на ее влажный блестящий рот и покрываю его своим. Она мурлычет:

"Es war so schon gewesen..." Ах, Эльза, ты еще не знаешь, что все это для меня значит, ваш "Тромпетер von Sackingen". Немецкие хоровые общества, Швабен Халле, Turnverein... links urn, rechts um...¹, а затем удар веревкой по заднице.

Я уже говорил, что день начался божественно. Только этим утром после нескольких недель пустоты я снова физически ощутил Париж. Может, это потому, что во мне начала расти Книга. Я повсюду ношу ее с собой. Я хожу по городу беременный, и полицейские

¹ Трубач из Зекингна... Союз физкультурников... налево кругом, направо кругом... (нем).

36

переводят меня через дорогу. Женщины встают и уступают мне место. Никто больше не толкает меня. Я беременный. Я ковыляю, как утка, и мой огромный живот упирается в мир.

Сегодня утром, по пути на почту, мы с Борисом поставили окончательную печать одобрения на нашу книгу. Мы с Борисом изобрели новую космогонию литературы. Это будет новая Библия – Последняя Книга. Все, у кого есть что сказать, скажут свое слово здесь – анонимно. Мы выдоим наш век, как корову. После нас не будет новых книг по крайней мере целое поколение. До сих пор мы копошились в темноте и двигались инстинктивно. Теперь у нас будет сосуд, в который мы вольем живительную влагу, бомба, которая взорвет мир, когда мы ее бросим. Мы запихаем в нее столько начинки, чтоб хватило на все фабулы, драмы, поэмы, мифы и фантазии для всех будущих писателей. Они будут питаться ею тысячу лет. В этой идее – колossalный потенциал. Одна мысль о ней сотрясает нас.

День идет бодрым шагом. Я стою на галерее у Тани. Внизу, в гостиной, разыгрывается драма. Главный драматург болен, и отсюда, сверху, его череп выглядит еще более опаршивевшим, чем всегда. Его волосы – солома.

37

Его мысли – солома. Его жена – тоже солома. но немного еще влажная. Я стою на балконе и жду Бориса.

Мне еще никто не сказал, в чем, собственно, заключается драма, происходящая внизу. Но я догадываюсь. Они стараются отделаться от меня. А я все-таки здесь, в ожидании обеда, и даже раньше, чем обычно.

Таня настроена враждебно. Ее раздражает, если я замечаю еще что-то, кроме нее. По калибру моего возбуждения она понимает, что сейчас ничего для меня не значит. Она знает, что сегодня я не собираюсь ее удобрять. Она знает, что во мне что-то зреет и это "что-то" превратит ее в ноль. Она не слишком сообразительна, но тут она хорошо сообразила...

У Сильвестра вид более удовлетворенный. Он будет обнимать Таню за обедом. Даже сейчас он не прерывает чтения моей рукописи, готовясь воспламенить мое "я" и использовать его против Таниного.

Любопытное сбощице будет здесь сегодня. Сцена уже почти готова. Я слышу позывки стаканов. Приносят вино. Когда опустеют стаканы, Сильвестр вылезет наконец из своей болезни.

Вчера вечером у Кронstadtов мы разработали сегодняшнюю программу. Мы решили, что женщины должны страдать, а за кулисами

38

должны происходить ужасы, бедствия, насилие, горе и слезы – как можно больше. Это не случайность, что люди, подобные нам, собираются в Париже. Париж – это эстрада, вертящаяся сцена. И зритель может видеть спектакль из любого угла. Но Париж не пишет и не создает рамы. Они начинаются в другом месте. Париж подобен щипцам, которыми извлекают эмбрион из матки и помещают в инкубатор. Париж – колыбель для искусственно рожденных. Качаясь в парижской люльке, каждый может мечтать о своем Берлине, Нью-Йорке, Чикаго, Вене, Минске. Вена нигде так не Вена, как в Париже. Все достигает здесь своего апогея. Одни обитатели колыбели сменяются другими. На стенах парижских домов вы можете прочесть, что здесь жили Золя, Бальзак, Данте, Стриндберг – любой, кто хоть что-нибудь собой представлял. Все когда-то жили здесь. Никто не умирал в Париже...

3

Воскресенье! Я ушел из виллы Боргсзе перед завтраком, как раз когда Борис садился за стол.

Можно ли болтаться весь день по улицам с пустым желудком, а иногда и с эрекцией?

39

Это одна из тех тайн, которые легко объясняют так называемые "анатомы души". В послеполуденный час, в воскресенье, когда пролетариат в состоянии тупого безразличия захватывает улицы, некоторые из них

напоминают вам продольно рассеченные детородные органы, пораженные шанкром. И как раз эти улицы особенно притягивают к себе. Например, Сен-Дени или Фобур дю Тампль. Помню, в прежние времена в Нью-Йорке около Юнион-сквер или в районе босняцкой Бауэри меня всегда привлекали десятицентовые кунсткамеры, где в окнах были выставлены гипсовые слепки различных органов, изъеденных венерическими болезнями. Город – точно огромный заразный больной, разбросавшийся по постели. Красивые же улицы выглядят не так отвратительно только потому, что из них выкачали гной.

В Сите Портъе, около площади Комба, я останавливаюсь и несколько минут смотрю на это потрясающее убожество. Прямоугольный двор, какие можно часто видеть сквозь подворотни старого Парижа. Посреди двора – жалкие постройки, прогнившие настолько, что заваливаются друг на друга, точно в утробном объятии. Земля горбится, плитняк покрыт какой-то слизью. Свалка человеческих отбо-

40

сов. Закат меркнет, а с ним меркнут и цвета. Они переходят из пурпурного в цвет кровяной муки, из перламутра в темно-коричневый, из мертвых серых тонов в цвет голубиного помета. Тут и там в окнах кривобокие уроды, хлопающие глазами, как совы. Визжат бледные маленькие рахитики со следами родовспомогательных щипцов. Кислый запах струится от стен – залах заплесневевшего матраца. Европа – средневековая, уродливая, разложившаяся, си-минорная симфония. Напротив через улицу в "Сине-Комба" для постоянных зрителей крутят "Метрополис".

Возвращаясь, я припомнил книгу, которую читал всего лишь несколько дней назад: "Город похож на бойню. Трупы, изрезанные мясниками и обобранные ворами, навалены повсюду на улицах... Волки пробрались в город и пожирают их, меж тем как чума и другие болезни вползают следом составить им компанию... Англичане приближаются к городу, все кладбища которого охвачены пляской смерти..." Это описание Парижа времен Карла Безумного. Прелестная книга! Освежающая, аппетитная. Я все еще под впечатлением. Я плохо знаком с бытовыми подробностями Ренессанса, но мадам Пимпернель, прелестная булучница, и метр Жеан Крапотт, золотых дел

41

мастер, часто занимают мое воображение. Не надо забывать также и Родена, злого гения "Вечного жида", который занимался своими темными делами, "пока не воспыпал страстью к мулатке Сесили и не стал жертвой ее хитрости". Часто, сидя на площади Тампль и думая о проделках живодеров под командой Жана Кабоша, я вспоминал печальную судьбу Карла Безумного. Полуидиот, который бродил по залам своего дворца Сен-Поль, одетый в отвратительнейшие отрепья, сжиравший язвами и вшами и грызущий обглоданную кость, когда ему ее бросали, как паршивой собаке. На rue de Lyon я искал остатки зверинца, где Карл кормил своих любимцев. Это было его единственное развлечение, да еще игра в карты со своей "невысокородной подругой" Одетт де Шандивер... Бедный дурак!

В такой же воскресный день, как сегодня, я встретился с Жермен. Я прогуливался по бульвару Бомарше, и в кармане у меня лежало сто франков, которые моя жена злобно перевела мне из Америки. Запах весны был уже в воздухе; ядовитой, зловонной весны, которая словно поднималась из выгребных ям. Каждый вечер я приходил сюда – меня влекли прокаженные улочки, раскрывавшие свое мрачное великолепие только тогда, когда начинал

42

угасать свет дня и проститутки занимали свои места. Мне особенно запомнился перекресток улицы Пастер-Вагнер и улицы Амело, которая прячется за бульваром, как спящая ящерица. Здесь, в этом горлышке бутылки, ты всегда мог найти стайкустерянниц, горланящих и бьющих своими грязными крыльями. Они норовили вонзить в тебя острые когти и затянуть в подворотню. Веселая хищница даже не давала тебе времени застегнуть штаны, когда ты кончал свое дело. Она вталкивала тебя в комнатушку прямо с улицы – обычно в этой комнате не было окон, – подобрав юбки, садилась на кровать, делала тебе беглый медицинский осмотр, потом плевала тебе на член и направляла его худа полагается. Пока ты мылся, другая ночная красотка уже стояла в дверях, держа за руку клиента и спокойно наблюдая, как ты заканчиваешь свой туалет.

Жермен не была такой, хотя с виду ничем не отличалась от других шлюх, которые собирались по вечерам в кафе "Де л'Элефан". Как я уже говорил, пахло весной, и несколько франков, которые наскребла для меня жена, жгли мне карман. У меня было предчувствие, что, не дойдя до площади Бастилии, я попаду в лапы одной из этих красоток. Фланируя вдоль бульвара, я заметил Жермен, направля-

43

ящуюся ко мне обычным шагом профессиональной проститутки. Я заметил ее стоптанные каблуки, дешевые побрякушки и ту особую бледность, которая еще больше подчеркивается румянами. Договориться с ней было нетрудно. Мы сели за дальний столик маленькой пивной и быстро сошлились в цене. Через пять минут мы уже были на улице Амело в пятифранковой комнатушке со спущенными шторами и отвернутым одеялом. Жермен не торопилась. Она сидела на биде, подмываясь с мылом, и болтала со мной на разные приятные темы. Ей очень нравились мои штаны для гольфа. "Очень шикарно", – повторяла она. Когда-то штаны были действительно шикарными, но износились сзади до дыр; к счастью, фалды пиджака прикрывали мой зад. Жермен встала, чтобы вытереться, все еще болтая, но внезапно отбросила полотенце и, подойдя ко мне, начала ласково гладить себя между ног обеими руками, точно это была драгоценная парча, которой она нежно касалась. Было что-то незабываемое в ее красноречивых движениях, когда она приблизила свой розовый куст к моему носу. Она говорила о нем как о чем-то прекрасном и постороннем, о чем-то, что она приобрела за большую цену, что возросло с тех пор в цене во много раз и

44

что сейчас для нее дороже всего на свете. Эти слова придавали ее действиям особый аромат, и казалось, это уже не просто то, что есть у всех женщин, а какое-то сокровище, созданное волшебным образом или данное Богом – и ничуть не обесцененное тем, что она продавала его каждый день много раз за несколько сребренников. Как только она легла на кровать, руки ее немедленно оказались между широко раздвинутыми ногами; лаская и гладя себя, она все время приговаривала своим надтреснутым хриплым голосом, какая это прелестная вещь, настоящее маленькое сокровище. И оказалась права. В этот послеполуденный воскресный час все шло как по маслу. Когда мы вышли на улицу и я взглянул на нее при резком солнечном свете, то увидел, что это обыкновенная проститутка – золотые зубы, герань на шляпке, стоптанные каблуки и т.д. и т.п. Но почему-то меня не возмутило, что она вытянула из меня обед, сигареты и деньги на такси; я даже поощрял все это. Она мне так понравилась, что после обеда мы опять пошли в ту же гостиницу и попробовали еще раз. Теперь уже – "по любви". И опять этот большой пущистый куст произвел на меня магическое впечатление. Для меня он тоже стал вдруг чем-то самостоятельным. Тут была Жермен, и тут

45

был ее розовый куст. Мне они нравились по отдельности. И мне они нравились вместе.

Как я сказал уже, Жермен не была похожа на других. Когда позже она узнала о моих стесненных обстоятельствах, она повела себя самым благородным образом – покупала мне выпивку, открыла кредит, закладывала мои вещи, знакомила со своими подругами и так далее. Она даже извинялась за то, что не могла давать мне деньги, и я понял почему, когда мне показали ее сутенера. Каждый вечер я приходил в маленькую пивную, где собирались проститутки, и ждал там, когда придет Жермен и у делит мне несколько минут своего рабочего времени.

Когда потом, спустя несколько месяцев, я писал о Клод, я думал не о Клод, а о Жермен... "Все мужчины, которые были с тобой до меня, а сейчас – я, только – я... Баржи, плывущие мимо, их корпуса и мачты, и весь поток человеческой жизни, текущей через тебя, и через меня, и через всех, кто был здесь до меня и будет после меня, и цветы, и птицы в воздухе, и солнце, и аромат, который душит, уничтожает меня..." Это написано о Жермен. Клод была иной, хотя я и был к ней привязан и даже думал некоторое время, что люблю ее. У Клод были сердце и совесть; был и внешний лоск,

46

что для шлюхи плохо. Клод приносила с собой чувство грусти, она давала вам понять, не желая того, что вы один из тех, кто послан ей на погибель. Я повторяю, она делала это невольно, она никогда бы не позволила себе сознательно вызвать в вас подобное ощущение. Она была слишком утонченной, слишком чуткой для этого. Это не мешало ей быть обычной французской девушкой, наделенной обычным умом и получившей обычное воспитание. Просто жизнь сыграла с ней злую шутку. Она не была внутренне достаточно черствой, чтобы успешно противостоять ударам повседневной жизни. Это о ней были сказаны страшные слова Луи-Филиппа: "И наступает I ночь, когда все кончено, когда уже столько челюстей работало над нами, что мы не можем больше стоять на ногах и тело наше висит на костях, как бы изжеванное всеми зубами мира". Жермен же, напротив, была шлюхой с пеленок. Эта роль ее вполне устраивала, она ей даже нравилась, хотя случалось, что от голода сводило кишки или не хватало денег на починку туфель. Впрочем, это были лишь маленькие неприятности, которые не затрагивали ее души. Страшнее всего для нее была скуча. Бывали дни, когда наступало пресыщение, – но всего лишь дни! Обычно же она де-

47

лала свое дело с удовольствием, во всяком случае, такое создавалось впечатление. Разумеется, ей не было безразлично, с кем она шла в постель. Но главным для нее был самец как таковой. Мужчина! Она стремилась к нему. К мужчине, у которого между ногами было что-то, что могло ее щекотать, что заставляло ее стонать в экстазе, а в промежутках радостно, с какой-то хвастливой гордостью запускать обе руки между ногами и чувствовать себя принадлежащей живому потоку бытия. В том месте, куда она запускала обе руки, и была сосредоточена ее жизнь.

Жермен была шлюхой до кончиков ногтей, даже ее доброе сердце было сердцем настоящей шлюхи – скорее оно было не столько добрым, сколько ленивым и безразличным; веселое сердце, которое можно затронуть на минуту, не нарушив его безразличия; большое и вялое сердце шлюхи, способное быть добрым, не привязываясь. Однако, как бы ни был безрадостен, безобразен или ограничен тот мир, в котором она жила, Жермен чувствовала себя в нем прекрасно. И это было приятно видеть. Когда мы познакомились поближе, ее товарки подтрунивали надо мной, говоря, что я влюблен в нее (ситуация, казавшаяся им невероятной), и я отвечал: "Конечно, я влюблен

48

в нее и буду ей всегда верен". Это была ложь. Для меня любить Жермен было бы так же нелепо, как любить паука. И если я и был верен, то не ей, а той пущистой штуковине у нее между ногами. Всякий раз, глядя на женщину, я вспоминал Жермен и ее розовый куст, неизгладимо врезавшийся в мою память. Мне доставляло удовольствие сидеть на террасе маленькой пивной и наблюдать, как она работает. Все было так же, как со мной, – те же гримасы и те же трюки. Наблюдая за ней, я одобрительно думал: "Вот это работа!" Уже позднее, когда я связался с Клод и видел ее каждый вечер чинно сидящей за стойкой бара, в юбочке, пикантно облегавшей ее круглый задник, во мне просыпалось чувство протеста – мне казалось, что шлюха не имеет права сидеть, как приличная дама в ожидании господина, который будет медленно потягивать вместе с ней шоколад. Жермен делала не так. Она не ждала, пока к ней подойдут, а бежала за мужчинами, хватая их. Я хорошо помню ее дырявые чулки и стоптанные туфли; помню, как она влетала в пивную, быстрыми,

точными движениями забрасывала в себя стаканчик чего-нибудь покрепче и тут же выбегала обратно на улицу. Настоящая труженица! Конечно, ощущать ее дыхание, эту смесь слабого

49

кофе, кофейки, аперитивов, перво и других зелий, которые она поглощала в перерывах, чтобы согреться и набраться храбрости, было не слишком приятно. Но, выпив, она зажигалась, и огонь горел у нее между ног – там, где и должен он гореть у женщин. И этот огонь помогал вам снова обрести почву под ногами. Если она, лежа на кровати с раздвинутыми ногами, и стонала от страсти с каждым, то она была права. Именно это от нее и требовалось. Она не смотрела в потолок и не считала клопов на обоях; она честно делала свое дело и говорила только то, что хочет слышать мужчина, когда взбирается на женщину. А Клод? Нет, Клод была совсем другой. В ней всегда чувствовалась какая-то застенчивость, даже когда она залезала с тобой под простыню. И эта застенчивость обижала. Кому нужна застенчивая шлюха? Клод даже просила отвернуться, когда садилась на биде. Абсолютный бред! Мужчина, задыхающийся от желания, хочет видеть все, даже как женщина мочится. Может быть, и приятно знать, что женщина умна, но литература вместо горячего тела шлюхи – это не то блюдо, которое следует подавать в постели. Жермен понимала все правильно. Она была невежественна и похотлива и отдавалась своему делу с душой и сер-

51

дцем. Жермен была шлюхой до мозга костей, и в этом была ее добродетель!

4

Это мой последний обед в доме драматурга. Они только что взяли напрокат новый рояль, концертный. Я встретил Сильвестра, когда он выходил из цветочной лавки с фикусом в руках. Он попросил меня подержать горшок, а сам пошел за сигаретами. Одно за другим я испоганил все места, где меня кормили, места, которые я так старательно выискивал. Один за другим против меня восстали мужья – впрочем, иногда и жены. Прохаживаясь с фикусом в руках, я вспоминаю, как всего несколько месяцев назад эта идея явилась мне в первый раз. Я сидел на скамейке возле кафе "Куполь", вертя в руках обручальное кольцо, которое пытался всучить гарсону из кафе "Дом". Он предлагал за него только шесть франков, и это привело меня в ярость. Но голод не тетка. С тех пор как Мона уехала, я всегда носил это кольцо на мизинце. Оно стало до такой степени частью меня самого, что мне не приходила в голову мысль продать его. Это было обычное дешевенькое колечко из белого золота. Может быть, оно стоило когда-то полтора

52

доллара, может, больше. Три года мы не думали об обручальных кольцах, пока однажды, идя на пристань встречать Мону, я не увидел на нью-йоркской Мэйден-лейн ювелирный магазин. Вся витрина была завалена обручальными кольцами. На пристани Моны не оказалось. Дождавшись, когда сойдет последний пассажир, я попросил показать мне список прибывших. Имени Моны в нем не было. Я надел кольцо на мизинец и с тех пор с ним не расставался. Как-то я забыл его в бане, но мне его возвратили. Одна из завитушек обломилась. И вот теперь я сидел перед кафе, опустив голову и крутя кольцо на пальце, как вдруг точно кто-то хлопнул меня по плечу. Я сразу нашел и еду и карманные деньги. Ведь никто не откажется накормить человека, если у него достанет храбрости потребовать этого. Я немедленно отправился в кафе и написал дюжину писем: "Не разрешите ли вы мне обедать у вас раз в неделю? Пожалуйста, сообщите, какой день вам удобнее". Результат превзошел все ожидания. Меня не просто кормили, мне закатывали пиры. Каждый вечер я возвращался домой навеселе. Они расшибались в лепешку, эти мои еженедельные кормильцы. Что я ел в другие дни, их не касалось. Иногда более внимательные подкидывали мне мелочь

53

на сигареты и прочие карманные расходы. И все чувствовали огромное облегчение, едва до них дошло, что отныне они будут видеть меня лишь раз в неделю. Но настояще счастье наступало, когда я говорил: "Сегодня мой последний обед у вас". Они не спрашивали, в чем дело. Только поздравляли. Часто я отказывался потому, что находил себе более приятных хозяев и мог позволить себе вычеркнуть из списка тех, кто надоел мне хуже горькой редьки. Об этом они, конечно, не подозревали. Вскоре у меня уже составилось твердое, окончательно установленное расписание. Я знал, что во вторник *я* буду есть это, а в пятницу – то. Я знал, что у Кронштадтов меня ждет шампанское и домашний яблочный пирог. А Карл будет каждую неделю кормить меня в новом ресторане и заказывать редкие вина, а после обеда водить в театр или в цирк "Медрано". Мои кормильцы сгорали от любопытства, стремясь узнать, кто же еще меня кормит. Они спрашивали, где мне больше всего нравится, кто лучше всех готовит и т.д. Пожалуй, больше всего мне нравилось у Кронштадтов, может быть потому, что Кронштадт записывал на стене стоимость каждого обеда. Это не отягощало моей совести, я не намеревался ему платить, да он и не надеялся на возмещение

54

расходов. Меня просто интриговали странные цифры. Он высчитывал все до последнего гроша, и если бы я когда-нибудь собрался ему заплатить, мне пришлось бы разменять мои купюры на мелочь. Его жена великолепно готовила, и ей было наплевать с высокого дерева на все его записи. Она взимала с меня дань копировальной бумагой. Честное слово! Когда я приходил без свежей копии, она расстраивалась. За это я должен был на следующий день вести их маленькую дочку в Люксембургский сад и играть там с ней часа два-три. Это приводило меня в бешенство, потому что она говорила только по-венгерски и по-французски. Вообще все мои кормильцы были довольно странной публикой...

В доме у Тани я стою на галерее и смотрю вниз. Молдорф сидит возле своего идола. Он греет ноги у камина, и во взгляде его водянистых глаз – невыразимая благодарность. Таня наигрывает адажио. Адажио говорит очень внятно: больше не будет слов любви! Теперь, снова стоя у фонтана, я смотрю на черепах, которые мочатся зеленым молоком. Сильвестр только что вернулся с Бродвея, и его сердце преисполнено любви. Всю ночь я лежал на скамейке в саду, а рядом мочились черепахи, и разъяренные кони летели по воз-

55

духу в приапическом галопе, не касаясь ногами земли. Всю ночь я чувствовал запах сирени – той сирени, которая была в темной комнатке, где она распускала волосы, той сирени, которую я принес ей перед тем, как она пошла встречать Сильвестра. Он вернулся, по ее словам, преисполненный любви... А моя сирень – все еще в волосах, во рту, под мышками. Комната, напоенная запахом сирени, черепашьей мочи, любви и бешено скачущих коней. А утром – грязные зубы и запотевшие окна. Маленькие ворота, ведущие в сад, закрыты; народ спешит на работу, и железные жалюзи скрежещут так, точно это не жалюзи, а рыцарские доспехи. В книжном магазине против фонтана выставлена история озера Чад – молчаливые ящерицы, великолепные краски. Все эти письма, которые я писал ей. пьяные письма, написанные огрызками карандаша; сумасшедшие письма, намаранные углем, пока я слонялся от скамейки к скамейке; они будут теперь читать их вместе, и когда-нибудь Сильвестр отпустит мне комплимент. Он скажет, стряхивая пепел с сигареты: "А знаете, вы пишете совсем недурно... Постойте, вы же, кажется, сюрреалист?" Сухой, ломкий голос, налет на зубах, золотуха вместо золота и пепел вместо огня.

56

Я – на галерее с фикусом, а адажио внизу. Клавиши, черные и белые, сначала черные, потом белые и черные. Ты спрашиваешь, не сыграть ли что-нибудь для меня. Да, сыграй что-нибудь двумя пальцами. Сыграй адажио – это единственное, что ты знаешь. Сыграй, Таня, а потом отруби себе эти два пальца.

Не понимаю, почему ей так хочется все время играть это адажио! Старое пианино она забраковала; ей надо было взять напрокат концертный рояль – для ее адажио! Когда я вижу ее большие указательные пальцы, нажимающие на клавиши, а потом этот дурацкий фикус, я чувствую себя как тот сумасшедший на севере, который выбросил одежду и, сидя на суху нагишом, кидал орехи в замерзшую селедочную Атлантику. Есть что-то изводящее в этой музыке, что-то слегка печальное, точно она была написана на куске лавы молочно-свинцового цвета. И Сильвестр, наклонив голову, как аукционист, говорит Тане: "Сыграй ту, другую пьесу, которую ты разучивала сегодня". Как замечательно иметь смокинг, хорошую сигару и жену, которая играет на рояле. Очень приятно, успокаивает нервы. В антракте можно покурить и подышать свежим воздухом. Да, у нее гибкие пальцы, необыкновенно гибкие. Она также рисует по шелку. Не

57

хотите ли попробовать болгарскую сигаретку? Послушай, голубушка, что ты играла и что мне так нравилось? Скерцо! О да, конечно, скерцо! Это замечательно – скерцо! Так говорит князь Вольдемар фон Швессенайцуг. Холодные глаза, будто запорошенные перхотью. Дурной запах изо рта. Кричащие носки. Гороховый суп с гренками, не угодно ли. "Мы всегда едим гороховый суп по пятницам. Не хотите ли попробовать красного вина? Красное вино хорошо к мясу". Сухой отрывистый голос: "Не угодно ли сигарету? Да, я люблю свою работу, но я не придаю ей большого значения. Моя следующая пьеса будет построена на многосторонней концепции мироздания. Вращающиеся барабаны с кальциевыми лампами. О'Нил как драматург – мертв. Мне кажется, дорогая, тебе надо чаще отпускать педаль. Да, это место прелестно... прелестно, не правда ли? Действующие лица в моей пьесе будут снабжены микрофонами. Мы их прикрепим к брюкам. Действие происходит в Азии, потому что там более благоприятные в акустическом отношении атмосферные условия. Не хотите ли попробовать анжуйского? Мы купили его специально для вас..."

Так он говорит в течение всего обеда. Это какое-то недержание речи. Похоже, что он

58

просто вынул свой обрезанный пенис и мочится прямо на нас. Таня еле сдерживается. С тех пор как он вернулся домой, преисполненный любви, этот монолог не прекращается. Таня рассказывает, что он не перестает говорить, даже когда раздевается – непрерывный поток теплой мочи, точно кто-то проткнул ему мочевой пузырь. Когда я думаю о Тане, вползающей в кровать к этому раздрызганному мочевому пузырю, меня душит злоба. Подумать только, что этот иссохший мозглик с его дешевенькими бродвейскими пьесками мочится на женщину, которую я люблю! Он требует красного вина, вращающихся барабанов и горохового супа с гренками! Какое нахальство! И вот это ничтожество лежит сейчас рядом с печкой, которую я без него так хорошо топил, – и просто мочится! Боже мой, да стань же на колени и благодаря меня! Неужели ты не видишь, что сейчас у тебя в доме – женщина? Неужели ты не чувствуешь, что она готова взорваться. А ты мямышишь, придущенный аденоидами: "Да-с... я вам скажу... на это можно смотреть с двух точек зрения..." Ебал я твои две точки зрения! Ебал я твое многостороннее мироздание и твою азиатскую акустику! Не суй мне в нос свое красное вино и свое анжуйское... дай мне ее... она моя! Иди сядь у фон-

59

тана и дай мне нюхать сирень. Протри глаза... забирай это паршивое адажио, заверни его в свои фланелевые штаны! И ту, другую, пьесу, и всю прочую музыку, на которую способен твой дряблый мочевой пузырь. Ты улыбаешься мне так самодовольно, с таким, чувством превосходства. Я льщу тебе, неужели ты не понимаешь? Пока я слушаю твою дребедень. ее рука на моем колене, но ты этого не видишь. Думаешь,

мне приятно страдать? Ах, это моя роль в жизни. Ты так считаешь. Очень хорошо. Спроси ее! Она скажет тебе, как я страдаю. "Ты рак и бред," – вот что она сказала мне на днях по телефону. У нее сейчас и рак, и бред, и скоро тебе придется сдирать струпья. У нее надуваются жилы, а твой разговор – одни опилки. Сколько бы ты ни мочился, ты не наполнишь чашу. Как это сказал мистер Рен? Слова – это одиночество. Я оставил пару слов для тебя на скатерти вчера вечером, но ты закрывал их своими локтями.

Он построил вокруг нее изгородь, как будто она – вонючие кости какого-то святого. Если бы у него хватило великодушия сказать:

"Бери ее!" – может быть, и случилось бы чудо. Это так просто: "Бери ее". Клянусь, все обошлось бы благополучно. Кроме того, тебе не приходит в голову, что, возможно, я ее и не

60

взял бы. Или взял на время и возвратил бы тебе улучшенной. Но строить забор вокруг нее – это тебе не поможет. Нельзя держать человека за загородкой – так больше не делается... Ты думаешь, жалкий, высохший недоносок, что я недостаточно хороши для нее, что могу замарать и испортить ее. Ты не знаешь, как вкусна иногда испорченная женщина, как перемена семени помогает ей расцвести. Ты думаешь, все, что нужно, – это сердце, полное любви; быть может, так оно и есть, если нашел подходящую женщину, но у тебя не осталось больше сердца... ты – огромный и пустой мочевой пузырь. Ты точишь свои зубы и пытаешься рычать. Ты бегаешь за ней по пятам, как сторожевая пес, и повсюду мочишься. Она не нанимала тебя в сторожевые псы... она взяла тебя как поэта. Она говорит, что ты был когда-то поэтом. Но что с тобой стало сейчас? Не робей, Сильвестр! Выйди микрофон из штанов. Опусти заднюю ногу и перестань мочиться. Не робей, говорю я, потому что она уже тебя бросила. Она осквернена уже, и ты вполне можешь сломать свою загородку. Незачем вежливо осведомляться у меня, не пахнет ли кофе карболкой. Это меня не отпугнет. Можешь положить в кофе крысиного яду и насыпать би-

61

того стекла. Вскипятить чайник мочи и добавить туда мускатных орехов...

Последние недели я веду общинный образ жизни. Я вынужден делить себя. В основном с несколькими сумасшедшими русскими, пьяницей-голландцем и толстой болгаркой по имени Ольга. Из русских главным образом – с Евгением и Анатолием.

Ольга всего несколько дней назад вышла из больницы. Ей выжгли опухоль, и она слегка потеряла в весе. Однако не скажешь, что она очень страдала. По весу она не уступает небольшому старинному паровозику; она все так же потеет, у нее тот же запах изо рта и та же черкесская папаха, напоминающая парик из упаковочной стружки. На подбородке две бородавки, из которых растут жесткие волосы; вдобавок она отпускает усы.

На следующий день после выхода из больницы Ольга начала снова шить сапоги. В шесть утра она уже за работой – делает две пары в день. Евгений говорит, что Ольга – это обуза, но, по правде сказать, своими сапогами она кормит и Евгения, и его жену. Если Ольга не работает, в доме нечего есть. Поэтому все оза-

62

бочены тем, чтобы Ольга вовремя легла спать, чтобы она хорошо питалась и т.д. и т.п.

Каждая трапеза начинается с супа. Какой бы это ни был суп – луковый, помидорный или овощной, – вкус у него всегда один. Вкус такой, как будто в этом супе сварили кухонное полотенце – кисловатое мутное пойло. Я вижу, как после каждого обеда Евгений прячет суп в комод. Он стоит там и киснет до следующего дня. Масло тоже прячется в комод – через три, дня оно напоминает по вкусу большой палец на ноге трупа.

запах прогорклого растопленного масла не слишком-то повышает аппетит, особенно когда вся стряпня происходит в комнате, где нет никакой вентиляции. Едва я вхожу, мне становится дурно. Но Евгений, заслышав мои шаги, кидается к окну, отворяет ставни и отдергивает висящую на окне простыню, назначение которой – не пропускать свет. Бедный Евгений! Он смотрит на жалкую обстановку, на грязные простыни, на грязную воду в раковине и говорит трагически: "Я – раб". Он повторяет это по десять раз в день. Потом снимает со стены гитару и поет.

Кстати о прогорклом масле... запах прогорклого масла вызывает у меня и другие ассоциации... Я вижу себя стоящим в маленьком

63

дворике, вонючем и жалком. Через щели в ставнях на меня уставились странные лица... старые женщины в платках, карлики, сутенеры с крысиными мордочками, сгорбленные евреи, девицы из шляпной мастерской, бородатые идиоты. Они иногда вылезают во двор – набрать воды или вылить помои. Однажды Евгений попросил меня вынести ведро. В углу двора я нашел выгребную яму со скользкими от экскрементов, или, говоря проще, от дерма, краями и набросанными вокруг обрывками грязной бумаги. Я опрокинул ведро – раздалось чавканье, а потом неожиданно еще одно. Когда я вернулся, разливали суп. Во время обеда я думал о своей старой зубной щетке, о том, что из нее вылезают щетинки и застrevают в зубах.

Садясь есть, я стараюсь устроиться возле окна. Я боюсь сидеть на другой стороне стола, это слишком близко к кровати, а кровать – живая. Повернувшись, я вижу кровавые пятна на простынях. Но я стараюсь не смотреть туда. Я смотрю во двор, где ополаскивают помойные ведра.

После обеда мы идем в кинотеатр. Здесь Евгений садится за пианино в оркестровой яме, а я – в первом ряду. В зале ни души, но Евгений играет так, словно его слушают все

64

коронованные властители Европы. Дверь в сад открыта, и запах мокрых листьев смешивается с "тоской" и "грустью" Евгения. В полночь, когда воздух пропах потом и зловонным дыханием зрителей, я

возвращаюсь сюда спать. Красный фонарь с надписью "Выход", плавающий в табачном дыму, слабо освещает нижний угол асбестового занавеса; каждую ночь я засыпаю, глядя на этот искусственный глаз...

5

Эмерсон говорит: "Жизнь – это мысли, приходящие в течение дня". Если это так, то моя жизнь не что, иное, как большая кишкa. Я не только целыми днями думаю о еде, но и вижу ее во сне. Однако я не прошусь обратно в Америку, чтобы меня опять сковали узами брака и поставили к конвойеру. Я предпочитаю быть бедным человеком в Европе. Видит Бог – я вполне беден. Так что нужно только оставаться человеком.

На прошлой неделе я думал, что почти разрешил проблему собственного существования, что я на пути к экономической независимости. Дело в том, что я встретил еще одного русского по имени Сергей, или Серж. Он

65

живет в районе Сюрен, в небольшой колонии эмигрантов и обнищавших художников. До революции Серж был капитаном императорской гвардии, в нем шесть футов и три дюйма росту без каблуков, и он пьет водку, как воду. Его отец был адмиралом или кем-то в этом роде на броненосце "Потемкин".

Я познакомился с Сержем при довольно странных обстоятельствах. Вынюхивая, где бы поесть, я однажды около полудня оказался неподалеку от театра "Фоли-Бержер", точнее говоря, от его служебного входа в узком переулке, упиравшемся одним концом в железные ворота. Я болтался там возле артистического подъезда, смутно надеясь на встречу с какой-нибудь закулисной бабочкой, когда у театра остановился грузовик. Шофер – а это был не кто иной, как Серж, – увидел, что я стою, засунув руки в карманы, и спросил, не помогу ли я ему выгрузить железные бочки. Когда он узнал, что я американец, притом без гроша, он чуть не заплакал от радости. Оказалось, что он повсюду искал человека, который мог бы его учить английскому. Я помог ему закатить бочки с какой-то дезинфекционной жидкостью, а заодно досыта насмотрелся на полуголых стрекоз, порхающих за кулисами. Весь этот эпизод оставил во мне смесь странных

66

впечатлений – пустой театр, кукольные девочки, бочки с бактерицидным средством, броненосец "Потемкин", – а над всем этим мягкая обходительность Сержа. Это был нежный великан, мужчина с головы до пят, но с женским сердцем.

В соседнем кафе "Артист" Серж предложил мне сделку: я немедленно переезжаю к нему, он положит для меня матрац в коридоре, а за уроки английского я буду получать обед – обильный русский обед. Если же такового почему-либо не будет, тогда – пять франков. Это было прекрасно. Замечательно. Единственно, что меня смущало, – как я буду добираться каждое утро из пригорода в "Америкен экспресс"?

Серж хотел, чтобы мы начали заниматься немедленно, и потому дал мне денег на проезд в Сюрен. Я явился перед обедом, с рюкзаком, готовый к первому уроку. В доме уже были гости – они здесь всегда обедают целой толпой, в складчину.

За столом оказалось восемь человек и три собаки. Собаки едят первыми. Они едят овсянку. Потом начинаем есть и мы. Мы тоже едим овсянку как закуску. "У нас, – подмигивает мне Серж, – американскую овсянку едят только собаки. А здесь она – для джентльменов". По-

67

еле овсянки подают грибной суп с овощами, потом яичницу с грудинкой, фрукты, красное вино, водку, кофе, сигареты. Русский обед – это совсем неплохо. За столом все говорят с набитыми ртами. К концу обеда жена Сержа, ленивая, неряшливая армянка, заваливается на диван и начинает пробовать конфеты. Она роется в коробке своими толстыми, жирными пальцами, надкусывает одну конфету за другой в поисках сладкой начинки, а потом бросает их собакам.

После обеда гости скрываются с такой быстротой, как будто боятся чумы. Мы с Сержем остаемся одни, если не считать собак и его жены, заснувшей на диване. "Я люблю собак, – говорит Серж на ломаном английском, – собаки – хорошо. Маленький собака, черви. Он молодой". Серж наклоняется и рассматривает белых глистов, лежащих между собачьими лапами. Он старается объяснить мне что-то о глистиах по-английски, но ему не хватает слов. В конце концов он смотрит в словарь. "А-а, – говорит он торжествующе, – глисти!" Моя реакция, очевидно, не особенно умна, потому что Серж теряется. Он становится на колени, чтобы лучше рассмотреть их, берет одного и кладет на стол рядом с фруктами. "Хм, нс очень большой... – бормочет Серж. – Следую-

68

щий урок вы мне будет учить глист, да? Вы – хороший учитель. Я сделает хороший успех с вами..."

Когда я ложусь в коридоре на матрац, запах дезинфекционной жидкости душит меня. Острый, едкий, он, кажется, проникает во все поры моего тела. У меня начинается отрыжка, и я вспоминаю все съеденное – овсянку, грибы, грудинку, печенные яблоки. Я вижу маленького глиста, лежащего рядом с фруктами, и все разновидности черней, которых Серж рисует на скатерти, пытаясь объяснить мне, что происходит с собаками. В моем воображении возникает оркестровая яма "Фоли-Бержер" – везде, во всех щелях тараканы, вши, клопы. Я вижу, как публика в театре чешется и чешется – до крови. Я вижу червей, ползущих по декорациям, как армия красных муравьев, уничтожающих все на своем пути. И хористок, сбрасывающих свои газовые туники и бегущих по проходу нагишом. И зрителей, тоже сдирающих одежду и скребущих друг друга, точно обезьяны.

Я стараюсь успокоиться. В конце концов, ведь я нашел дом и вечером меня ждет обед. И Серж – чудный парень, никакого сомнения. Но я не могу заснуть. Это все равно что пытаться заснуть в морге. Матрац пропитан жид-

69

остью для бальзамирования покойников. Это – морг для вшей, клопов, тараканов, глистов. Я не могу выносить этого. И не буду. Ведь я – человек, а не вошь.

Утром я жду, пока Серж грузит свой грузовик. Я прошу его подвезти меня в Париж. У меня не хватает духу сказать ему, что я уезжаю навсегда. Я даже оставляю в доме рюкзак, хотя в нем все мое имущество. Когда мы проезжаем площадь Перье, я выпрыгиваю из машины. Мне нет особого смысла вылезать именно здесь. Но ведь и вообще особого смысла нет ни в чем. Я свободен – и это главное...

Под вечер, приближаясь к площади Клиши, я прохожу мимо маленькой проститутки с деревянной ногой. Она всегда стоит здесь, против "Гомон Палас". На вид ей не больше восемнадцати. Вероятно, у нее постоянная клиентура. После полуночи она, в своем черном платье, стоит тут, будто привинченная. Я беззаботно прохожу мимо нее, и она напоминает мне гуся с раздутой больной печенькой, привязанного к столбу, чтобы мир мог лакомиться страсбургским паштетом. Это, должно быть, странное чувство – деревянная нога в постели. Можно себе представить разные неожиданности – занозы, например, и т.д. Но о вкусах не спорят.

70

Удача улыбается мне сегодня – в уборной я нашел билет на концерт. Легкий как перышко я направляюсь в "Саль Гаво". Капельдинер явно недоволен тем, что я не дал ему на чай. Всякий раз, проходя мимо, он смотрит на меня выжидательно, надеясь, видимо, что я наконец вспомню о чаевых.

Я так давно не был в обществе хорошо одетых людей, что меня охватывает легкая паника. Тут тоже попахивает дезинфекцией – может быть, Серж обслуживает и этот театр. Но, слава Богу, никто не чешется. В воздухе, напротив, стоит легкий, едва уловимый залах духов. Перед самым началом концерта на лицах слушателей появляется выражение тоски. Концерт – изысканная форма самоистязания. Дирижер стучит палочкой по пульту. Миг напряженной сосредоточенности – и почти тут же общее сонное безразличие, которое нагоняет на публику оркестр своей музыкальной изморостью. Моя голова, однако, свежа, и тысячи маленьких зеркал отражают происходящее. Нервы приятно выбирируют. Звуки прыгают по ним, как стеклянные шарики, подбрасываемые миллионами водяных струй фонтана. Мне никогда еще не приходилось слушать музыку с таким пустым желудком. Возможно, поэтому я не упускаю ни единого

71

звучка, даже звука падающей в зале булавки. Мне кажется, что я голый и что каждая пора моего тела – это окно, и все окна открыты, и свет струится в мои потроха. Я чувствую, как звуки забиваются мне под ребра, а сами ребра висят над пустым выбириющим пространством. Сколько времени это продолжается, я не имею ни малейшего представления, я вообще теряю всякое понятие о времени и месте. Наконец я впадаю в какое-то полубессознательное состояние, уравновешенное чувством покоя. Мне кажется, что во мне – озеро, переливающееся всеми цветами радуги, но холодное, точно желе. Над озером широкой спиралью поднимается вереница птиц с длинными тонкими ногами и блестящим оперением. Стая за стаей взлетают они с озера, холодного и спокойного, проносятся над моими лопatkами и исчезают в белом мареве пространства. Потом кто-то медленно, очень медленно, как старая женщина в белом чепце, проходит по моему телу, закрывая окна-поры, и я вновь обретаю себя. Внезапно загигается свет, и я вижу, что человек в белой ложе, которого я принимал за турецкого офицера, на самом деле – женщина с корзиной цветов на голове.

Зал наполняется гулом голосов, и тот, кому хотелось кашлянуть, может наконец это

72

сделать безнаказанно. Слышно шарканье ног, стук сидений, люди непрерывно шевелятся, встают, снова садятся, просто так, без всякой причины; шелестят программами, делая вид, что читают, потом запихивают их под сиденья, довольные тем, что можно не вспоминать, о чем они думали, слушая музыку, – потому что на самом деле они ни о чем не думали, но если они поймут это, то сойдут с ума. При ярком свете они смотрят друг на друга бессмысленно и напряженно. Но как только дирижер стучит палочкой по пульту, они снова погружаются в каталепсию, потом непроизвольно начинают почесываться, потом перед их мысленным взором внезапно возникает витрина с шарфом и шляпой. Они с изумительной ясностью видят мельчайшие детали, но где находится сама витрина, вспомнить не могут, и это лишает их сна и покоя. Они слушают с удвоенным вниманием, но, как ни прекрасна музыка, проклятые шляпа и шарф все время отвлекают их.

Мучительное состояние публики передается оркестру; он начинает играть с поразительной живостью. Второй номер программы проходит с такой быстротой, что, когда музыка неожиданно обрывается и в зале вспыхивает свет, слушатели застревают, как морковки, в своих креслах, их челюсти конвульсивно

73

двигаются, и, если к ним подойти и внезапно крикнуть прямо в ухо: "Брамс, Бетховен, Мендельсон, Герцеговина", они ответят вам без малейшего колебания: "Четыре, девятьсот шестьдесят семь, двести восемьдесят девять".

К началу Дебюсси атмосфера уже отравлена. Я ловлю себя на мыслях: как все-таки должна себя чувствовать женщина при совокуплении? Остree ли наслаждение и т.д.? Пытаюсь представить себе – вот что-то проникает в меня между ляжками, но ничего не чувствую, кроме туповатой боли. Пытаюсь сосредоточиться, но музыка ускользает, и все, что я мысленно вижу, – это ваза с фигурами. Ваза медленно

поворачивается, и фигуры уходят в пространство. Потом остается только медленно поворачивающийся свет – и как это свет может поворачиваться? Мой сосед спит сном праведника. Со своим животом и нафабренными усами он похож на маклера, и уже поэтому он мне нравится. Особенно мне нравится этот живот и все, что пошло на его сооружение. Почему бы ему и не спать? Если ему захочется послушать музыку, он всегда найдет деньги на другой билет. Я заметил, что чем лучше люди одеты, тем спокойнее они спят. У них чиста совесть, у этих богатых. Вот бедный – совсем другое дело: стоит ему задремать

74

лишь на минуту – и он сконфужен, ему кажется, что он нанес композитору величайшее оскорбление.

Испанские мотивы наэлектризовали публику. Все сидят на краешках стульев – их разбудили барабаны. Когда барабаны вступили, я подумал, что это никогда не кончится. Мне казалось, что все должны вываливаться из лож и подбрасывать шляпы в воздух. В этой музыке есть что-то неистовое. Если бы Равель захотел, он мог бы довести аудиторию до полного исступления. Но Равель не таков. Внезапно музыка стала спокойнее, словно композитор вдруг вспомнил, что на нем визитка и что приличному человеку не подобает так буйствовать. На мой скромный взгляд – большая ошибка. Искусство в том и состоит, чтобы не помнить о приличиях. Если вы начинаете с барабанов, надо кончать динамитом или тротилом. Равель пожертвовал чем-то ради формы – ради овощей, которые полезно есть часа за два – три до отхода ко сну.

Мои мысли разбредаются. Барабаны смолкли, и музыка ускользает от меня. Все вокруг тоже приходит в прежнее состояние. Под красным светом пожарного выхода сидит Вер-

75

тер, погруженный в отчаяние; его подбородок упирается в ладони, глаза остекленели. Возле дверей испанец в небрежно наброшенном плаще, с сомбреро в руках. Он точно позирует Родену для его Бальзака. Лицом он напоминает Буффало Билла. На балконе напротив меня в первом ряду сидит женщина, широко расставив ноги; похоже, что у нее свело скулы; голова ее откинута назад, и шея свернута на сторону. Женщина в красной шляпке спит, свесившись через барьер, – вот если бы у нее пошла горлом кровь! Целое ведро крови на все эти крахмальные рубашки внизу. Представляете себе – эти сукины дети идут домой, а их манишки в крови!

В музыке звучит лейтмотив сна. Никто больше не слушает. Нельзя думать и слушать. Невозможно даже мечтать – сама музыка и есть мечта. Женщина в белых перчатках держит на коленях лебедя. Легенда говорит, что, когда лебедь оплодотворил Леду, у нее родилась двойня. Все что-то или кого-то рожают, за исключением лесбиянки во втором ярусе. Ее голова запрокинута, шея открыта – ее щекочут брызги, летящие из оркестра... Юпитер в ее ушах. Киты с большими плавниками, Занзибар. Алькасар. "Когда вдоль Гвадалквивира блестали тысячи мечетей..." Глубоко в айс-

76

бергах, в сиреневых днях. Улица Денег с двумя белыми тумбами, чтобы привязывать лошадей. Горгульи... человек со вздором Яворского... огни над рекой... огни... над...

6

В Америке у меня было несколько знакомых индусов; одни были хорошие люди, другие – плохие, третьи – ни то ни се. Я просто вспоминаю цепь обстоятельств, которые привели меня в дом Нанантати. Странно, что я совершенно забыл про Нанантати и вспомнил о нем всего несколько дней назад, лежа в поганой комнаташке в гостинице на улице Сель. Я лежал на железной койке и думал, до какого же ничтожества я дошел, до какого обнищания, до какого круглого нуля, и вдруг – бац! – в моей голове прозвучало: NONENTITY! Так мы называли Нанантати в Нью-Йорке – Нонентити. Мистер Нонентити, то есть господин Ничтожество.

Я лежу на полу в "великолепной" парижской квартире Нанантати, которой он так хвастался, приезжая в Нью-Йорк. Тогда он разыгрывал доброго самаритянина. Этот самаритянин дал мне два жестких одеяла, не одеяла, а лошадиные попоны, в которые я за-

77

вертываюсь, лежа на пыльном полу. Каждую минуту он заставляет меня что-нибудь делать – если, конечно, я по глупости остаюсь дома. Он будит меня по утрам самым бесцеремонным образом и требует, чтобы я готовил ему овощи на завтрак – лук, чеснок, бобы и т.п. Его приятель Кепи предупреждал меня, что есть эту дрянь нельзя. Дрянь или не дрянь – какая разница? Все-таки еда. А что еще нужно? Даже за такую кормежку я готов мести его ковры его сломанной щеткой, стирать его одежду и собираять крошки с пола, когда он кончает есть. Дело в том, что, как только я поселился у него, он стал очень аккуратен: пыль должна быть вытерта, стулья – стоять на месте, часы – бить вовремя, а вода в уборной должна спускаться безотказно... Этот Нанантати был скуп, как гороховый стручок. Я знаю, что когда-нибудь, когда я вырвусь из его когтей, я буду над этим смеяться, но сейчас я его пленник, человек вне касты, неприкасаемый...

Нанантати – один из тех индусов, для которых я никогда ничего не делал в Америке. Он рассказывал мне, что он богатый купец, торговец жемчугом, что у него "роскошная квартира" в Париже на улице Лафайет, вилла в Бомбее и бунгало в Дарджилинге. Я сразу же понял, что он – идиот, но идиоты часто обла-

78

дают талантом наживать состояния. Я не знал, что он оплатил свой гостиничный счет в Нью-Йорке парой крупных жемчужин. Забавно вспоминать, как эта толстенькая переваливающаяся с боку на бок утка расхаживала с черной тростью в холле шикарного отеля, помыкая прислугой, заказывая завтраки для себя и

своих гостей, билеты в театры и такси на целый день; при этом в кармане у него не было ни гроша. Только жемчужное ожерелье на шее, с которого по мере необходимости он снимал одну жемчужину за другой.

Все-таки интересно, как индусский бог наградил меня за мою доброту. Ведь я стал рабом этой маленькой толстенькой утки. Он помыкал мною денно и нощно. Я был ему "Удобен" – от говорил это мне прямо в лицо, не смущаясь. Идя в сортир, он кричал: Енри, принесите, пожалуйста, кувшин воды, мне надо подтереться". Нанантати и в голову не приходило, что можно пользоваться туалетной бумагой. Наверное, из-за религиозных запретов. Нет, ему был нужен кувшин воды и тряпка. Он, видите ли, был очень утонченным, этот толстенький селезень. Иногда, когда я пил жидккий чай, в который он бросал розовый лепесток, он подходил ко мне и громко пукал – прямо мне в нос. И никогда даже не извинялся.

79

Такого слова, как "простите", очевидно, не существовало в его словаре языка гуджарати.

Каждый день его приятель Кепи заходит узнать, не приехал ли кто-нибудь из Индии. Дождавшись, когда Нанантати уйдет из дома, он бежит к заветному шкафу и достает оттуда хлебные палочки, которые Нанантати прячет в стеклянный кувшин. Он поедает их, как крыса, утверждая при этом, что они ужасная дрянь. Этот Кепи – паразит, человекообразный клещ, который впивается даже в самых бедных из своих соотечественников. С точки зрения Кепи, они все – набобы. За манильскую сигарку и кружку пива Кепи будет целовать задницу любому инду. Но заметьте, инду, а не англичанину. У него записаны адреса всех парижских борделей, причем с ценами. Он получает свои маленькие комиссионные даже с десятифранковых заведений. Кепи также может указать кратчайшую дорогу в любое место, куда вам надо. Сначала он поинтересуется, не хотите ли вы взять такси. Если вы откажетесь, он предложит автобус, а если вы сочтете, что и это слишком дорого, тогда трамвай или метро. Скорее всего он посоветует вам пойти пешком, чтобы сэкономить па-

80

ру франков, отлично зная, что по дороге есть табачный магазин и он выклянчат у вас маленькую сигарку.

Кепи – в своем роде интересный тип, потому что у него нет абсолютно никаких потребностей, кроме одной – ебаться каждый вечер. Каждый грош, который он зарабатывает – а их очень мало, – он тратит на танцульках. У него в Бомбее жена и восемь детей, но это не мешает ему свататься к каждой горничной, если она настолько глупа, чтобы ему поверить. Он живет в маленькой комнатке на улице Кондорсе и платит за нее шестьдесят франков в месяц. Он сам обклеил ее обоями и очень этим горд. Авторучку он заправляет фиолетовыми чернилами, потому что они дольше сохраняются. Он часами чистит себе ботинки, утюжит брюки и стирает белье. За манильскую сигарку он пойдет с вами через весь Париж.

Недавно Кепи принес мне книгу. Это был отчет о знаменитом процессе между индусским праведником и издателем газеты. Издатель публично обвинил праведника в том, что тот ведет развратную жизнь; он даже пошел дальше и заявил, что у праведника венерическая болезнь. Кепи считает ее великим французским сифилисом, но Нанантати утверждает, что это японский триппер. Нанантати

81

любит все немного преувеличивать. Как бы то ни было, он просит: "Пожалуйста, Енри, прочтите и расскажите мне. Я не могу читать сам – у меня больная рука". Потом, чтобы подбодрить меня, он добавляет: "Это хорошая книга, там говорится о разных способах. Кепи принес ее специально для вас. Он ни о чем не думает, этот Кепи, только о девочках. У него их полно – как у Кришны. В это невозможно поверить..."

Потом Нанантати ведет меня на чердак, где сложены банки консервов и всякая дрянь из Индии, завернутая в джутовую мешковину и разноцветную бумагу. "Я привожу сюда девочек... – говорит он и добавляет с грустью: – Я не особенный ебарь, Енри. Я больше не ... женщин. Просто обнимаю их и говорю разные слова... Сейчас мне нравится только говорить слова..." Я знаю, что мне не надо больше его слушать, знаю, что он начнет говорить опять про свою руку. Я вижу ее каждую ночь, вижу, как она свисает с кровати, точно сорванная дверная петля. Но, к моему удивлению, он добавляет: "Я больше уже не годен для этого дела... да я и никогда не был хорошим е..рем. Вот мой брат – это совсем другой коленкор. Каждый день по три раза! И Кепи такой же – прямо как Кришна".

82

Сейчас мысли Нанантати только этим и заняты. Стоя перед шкафом, где он обычно молится, он рассказывает мне, как жил, когда жена и дети были с ним здесь. По праздникам он водил жену в "Дом народов мира" и снимал на ночь номер. Все номера там были отделаны в разных стилях. Его жене это очень нравилось. "Чудное место для е..., Енри. Я знаю там все номера..."

На стенах маленькой комнаты, в которой мы сидим, развешаны фотографии. На них представлены все ветви семьи Нанантати – это своего рода Индийская империя в разрезе. Но листья этого генеалогического дерева почти вся пожухла: женщины – хрупки и запуганы, у мужчин – острые умные лица дрессированных шимпанзе. Тут все они – девяносто человек или больше – со всеми своими белыми волами, навозными кучами, тонкими ногами, старомодными оловянными оправами очков; иногда на заднем плане виден кусок выжженного солнцем поля, разваливающиеся стены или многорукий идол вроде человекообразной сороконожки. В этой галерее есть что-то настолько нереальное, оторванное от жизни, что на ум невольно приходит все разнообразие храмов, раскинувшихся от Гималаев до Цейлона, их архитектура, удивительная по красо-

83

те и в то же время устрашающая, потому что плодородие воплощено в ней с такой бьющей через край щедростью, будто оно взято из самой земли и земля Индии теперь мертва. Когда видишь эти переплетенные в экстазе фигуры на фасадах бесчисленных храмов, невольно приходит в голову мысль о невероятной

потенции этих маленьких смуглых людей, столь искусных в любви вот уже более тридцати столетий. Какими хрупкими кажутся мне эти красивые мужчины и женщины, смотрящие с фотографий своими черными пронзительными глазами, какими истощенными тенями рядом с теми мощными сплетающимися фигурами, что украшают их храмы. В этих изображениях точно укор нынешним их потомкам, напоминание о героических мифах, о могучих расах, о праотцах. Глядя всего лишь на осколки этих снов, сохранившихся в камне оседающих, разваливающихся храмов, увлажненных человеческим семенем и покрытых драгоценными камнями, я застываю, подавленный и ослепленный роскошью фантазии древних мастеров, которая позволила полу миллиарду людей разного происхождения выразить свои устремления с такой мощью.

Пока я слушаю Нанантати и его рассказ о сестре, умершей во время родов, во мне возни-
84

кает странная смесь чувств. Вот она на стене – слабенько, испуганное существо двенадцати-тринадцати лет, держится за руку старика. Ей было десять, когда ее отдали замуж за старого развратника, похоронившего уже пятерых жен. А из ее семи детей только один пережил ее. Ее отдали этой старой горилле, чтобы жемчуг остался в семье. Умирая, она, по словам Нанантати, прошептала доктору: "Не хочу больше ебаться... Я устала лежать с членом во мне..." Рассказывая это, Нанантати задумчиво почесывает голову своей искалеченной рукой. "Да, с еблей теперь плохо, Енри... Но я подарю вам слово, которое принесет вам счастье... Вы должны повторять его каждый день, миллион раз, снова и снова... Это лучшее в мире слово, Енри... Повторяйте: "УМАХАРУМУМА!"

– Умарабу...

– Нет, Енри... Слушайте.. .умахарумума.

– Умамабумба...

– Нет, Енри... вот так...

... Нанантати потратил целый месяц, чтобы выудить это слово из книжонки с расплывшейся печатью, изжеванной бумагой и измызганным переплетом. Он читал ее среди танцующих блох и вшей, при жалком свете. Ему – с его дрянью на языке, слизью в глазах, помоями

85

в глотке, чесоткой в ладонях, рыданием в голосе, тоской в дыхании, туманом в голове, спазмами в совести, зудом в хвосте, нарывами в гортани, крысами на чердаке и мерзостью в ушах, ему, который вообще не мог запомнить больше одного слова в неделю, – это было нелегко.

Я, вероятно, никогда бы не вырвался из лап Нанантати, если бы мне не помогла судьба. Как-то вечером Кепи попросил меня проводить одного из его клиентов в соседний бордель. Парень только что приехал из Индии и сидел на мели. Это был один из последователей Ганди, которые совершили исторический "соляной поход" к морю. Надо сознаться, что это был очень веселый последователь Ганди, несмотря на обет воздержания, который он дал. Воздержание, видимо, длилось уже давно, и я с трудом сдерживал его по пути на улицу Лаферрьер – он, точно охотничья собака, рвался за дичью. Надо сказать, что это была очень тщеславная собака. Экипирован он был на славу: плисовый костюм, берет и галстук "Виндзор", тросточка, две самописки, фотоаппарат "Кодак" и необыкновенные подштанники. Деньги, которые он тратил, собирали бомбейские купцы; на эти деньги он дол-

86

жен был поехать в Англию и распространять там учение Ганди.

Войдя в заведение мисс Гамильтон, он, правда, начал терять самоуверенность. А когда его внезапно окружили голые женщины, он взглянул на меня буквально с отчаянием. "Выбирай, – сказал я ему. – Какая тебе больше нравится?" Но он был так растерян, что не мог даже на них смотреть. "Выбирайте вы..." – прошептал он, покраснев до слез. Я спокойно осмотрел товар и выбрал для него полную молодую девку, как мне показалось, в самом соку. Мы сели в гостиное и стали ждать заказанного вина. Мадам не могла понять, почему я никого не выбрал себе. "Вы тоже возьмите... – сказал мне молодой индус. – Я не хочу быть один". Девицы вернулись, и я остановил свой выбор на высокой, худой, с меланхоличными глазами. Теперь нас было четверо. Через несколько минут последователь Ганди наклоняется ко мне и шепчет что-то на ухо. "Конечно, если она тебе нравится больше, бери ее", – ответил я и в некотором смущении объяснил девушкам, что мы бы хотели произвести обмен. Это, конечно, было нетактично с нашей стороны. Но к этому времени мой индус уже развеселился, и пора было отправляться наверх и заканчивать всю эту музыку.

87

Мы взяли смежные комнаты, соединенные дверью. Мне казалось, что мой молодой друг будет не прочь произвести вторичный обмен, едва утолит свой острый голод. Как только девушки ушли, чтобы приготовиться, я услышал стук в дверь. 'Где здесь уборная?' Думая, что ему нужно помочиться, я посоветовал ему воспользоваться биде. Девушки с полотенцами в руках вернулись, и я слышал, как он хихикал.

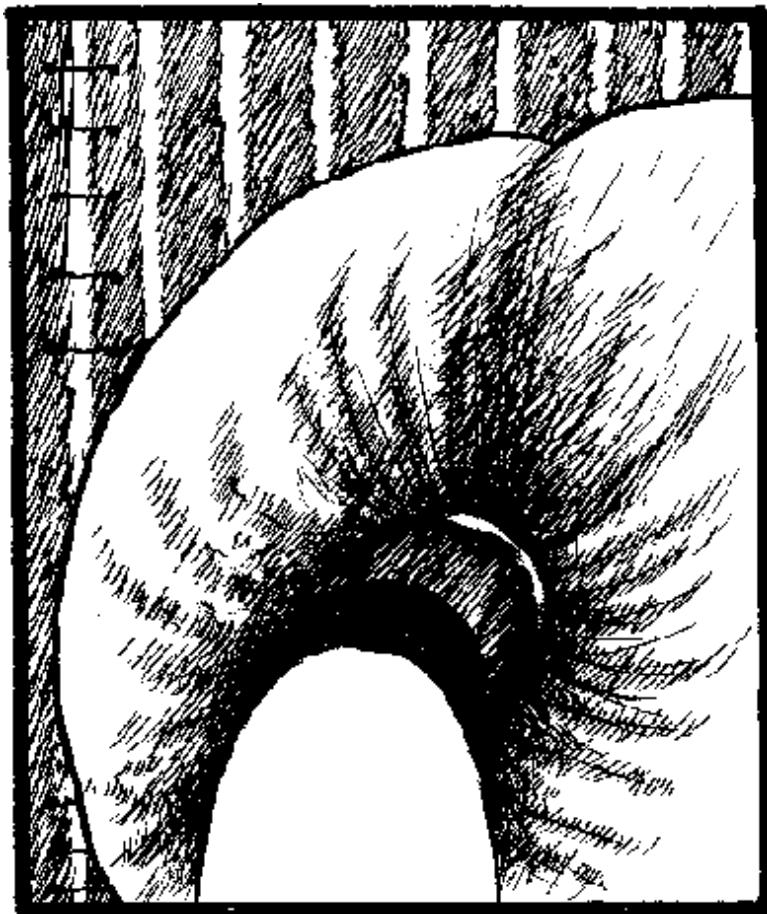
Но когда я уже надевал брюки, в соседней комнате начался какой-то подозрительный шум. Слышу, как девка ругает моего приятеля последними словами, называет его грязной свиньей и проч. Стараясь понять, чем он мог вызвать такое негодование, я стою с одной ногой в штанине и слушаю. Индус старается что-то объяснить по-английски. Начинает кричать и в конце концов срывается на визг.

Хлопает дверь, и через минуту мадам, красная, как свекла, врывается в мою комнату. "Стыдно вам! Стыдно! – кричит она, бешено жестикулируя. – Привести в приличный дом такого человека! Это же

варвар... это свинья какая-то... это... это!.." У нее за спиной стоит мой приятель. На его лице – полная растерянность.

– Что ты сделал? – спрашиваю я.

88



– Что он сделал?! – визжит мадам. – Я вам покажу, что он сделал! Идите сюда! – Она хватает меня за руку и тащит в соседнюю комнату. – Вот, полюбуйтесь! – кричит она, показывая пальцем на биде.

– Пойдем отсюда... – говорит мой индус.

– Нет, подождите! Вы так легко не отделась!

Мадам стоит рядом с биде, задыхаясь от злости. Девочки рядом, с полотенцами в руках. Так мы все стоим и смотрим в биде, где плавают две огромные колбасы. Мадам наклоняется и прикрывает биде полотенцем.

– Ужасно, это просто ужасно! – вопит она. – Никогда в жизни не видела ничего подобного... Свинья!.. Грязная свинья!

Индус смотрит на меня с упреком.

– Вы должны были объяснить мне... Я не знал, что это не пройдет в трубы... Я ведь спросил вас, и вы сказали, что я могу воспользоваться этой штукой... – Он чуть не плачет.

В конце концов мадам отводит меня в сторону. Она успокоилась, она понимает, что это ошибка. Может быть, господа хотят пойти вниз и заказать что-нибудь для девушек? Для них это было большое потрясение. Они не привыкли к таким вещам. Конечно, господа не забудут и горничную... Ведь для горничной

90

все это довольно неприятно. Она передергивает плечами и подмигивает. Прискорбный случай! Но это просто по ошибке. Если господа подождут здесь немного, горничная принесет вина. Может быть, господа хотят шампанского? Да?

– Я хотел бы уйти... – говорит молодой индус слабым голосом.

– О, не смущайтесь так, – пытается его успокоить мадам. – Все уже позади. Иногда можно и ошибиться. В следующий раз вы наверняка спросите уборную.

Она начинает распространяться про уборные – на каждом этаже есть уборная и ванная. У нее много клиентов из англичан. И все они джентльмены. Молодой человек – индус? О, индусы... Это очаровательные люди... такие умные, такие красивые.

Когда наконец мы выходим на улицу, очаровательный молодой джентльмен чуть не плачет.

Свой последний вечер в Париже он оставляет для "ебных развлечений". На этот день у него разработана полная программа – конференции, телеграммы, интервью, фотожурналисты, трогательные прощания, советы правоверным и т.д. Во время обеда он – воплощенная беспечность. Заказывает шам-

91

панское, ловким щелчком пальцев подзывает гарсона – словом, ведет себя как типичный хам, то есть тот, кто он в сущности и есть. Насмотревшись до тошноты на всякие приличные заведения, он просит меня

найти ему что-нибудь попроще, повести его туда, где он может взять двух-трех женщин сразу. Я веду его на бульвар Шапель, предупредив, чтоб он был осторожен с кошельком. В районе Обервилье мы заходим в дешевый притон и немедленно оказываемся в целой толпе женщин. Через несколько минут мой приятель танцует с голой бабой – тяжелой блондинкой со складками на шее. В дюжине зеркал отражается ее задница и его темные тонкие пальцы, впивающиеся в нее с липкой жадностью. Стол заставлен пустыми стаканами, механическое пианино хрюпит и свистит. Незанятые девушки сидят на кожаных диванах и почесываются, точно семья обезьян. В воздухе – сдерживаемая буря, тишина перед взрывом, который вот-вот должен прогреметь, но в последнюю минуту совершенно неожиданно выяснилось, что не хватает какой-то мелкой детали, просто крошечной... Эта странная атмосфера позволяет и быть здесь и не быть, и постепенно в моем сознании начинает вырисовываться пропавшая деталь, принимая причудливые фор-

92

мы, точно ледяной узор на окне. И подобно этому узору, как будто произвольно наведенному чьей-то рукой на стекле, а на самом деле возникшему в соответствии со строгими физическими законами, мои чувства тоже, по-видимому, подчинены непреложным законам природы. Всем своим существом я отдаюсь этим ощущениям, не известным мне раньше, и то, что мне казалось моим собственным "я", начинает сжиматься, сгущаясь до точки, покидающей мое тело, границы которого определены только реакциями нервных окончаний.

И я думаю о том, каким бы это было чудом, если б то чудо, которого человек ждет вечно, оказалось кучей дерьяма, наваленной благочестивым "учеником" в биде. Что, если б в последний момент, когда пиршественный стол накрыт и гремят цимбалы, неожиданно кто-то внес бы серебряное блюдо с двумя огромными кусками дерьяма, а что это дерьмо, мог бы почувствовать и слепой? Это было бы чудеснее, чем самая невероятная мечта, чем все, чего ждет человек и чего он ищет. Потому что это было бы нечто такое, о чем никто не мечтал и чего никто не ждал.

Утром я расстался со своим индусом, предварительно выудив у него несколько франков, чтоб было чем заплатить за комнату. Идя по

93

направлению к Монпарнасу, я грешил отдаться течению жизни и не делать ни малейшей попытки бороться с судьбой, в каком бы обличье она ни явилась ко мне. Всего, что случилось со мной до сих пор, оказалось недостаточно, чтобы меня уничтожить; ничто не погибло во мне, только иллюзии. Я остался невредим. Мир остался невредим. Завтра может произойти революция, чума, землетрясение и не от кого будет ждать помощи, тепла или веры. Мне кажется, что все это уже случилось и что я никогда не был более одинок, чем сейчас. С этой минуты я решаю ни на что не надеяться, ничего не ждать – жить, как животное, как хищный зверь, бродяга или разбойник. Если завтра будет объявлена война и меня призовут в армию, я схвачу штык и всажу его в первое же брюхо. Если надо будет насиливать, я буду насиливать с удовольствием. В этот тихий миг рождения нового дня земля полна преступлений и ужасов. Что изменилось в человеческой природе за все тысячелетия цивилизации? В сущности, человек оказался обманут тем, что принято называть "лучшей стороной" его натуры. На периферии духа человек-гол, точно дикарь. Даже когда он находит так называемого бога, он все равно остается гол. Он – скелет. Надо опять вживаться в жизнь, чтоб нарастить

94

на себе мясо. Слово становится плотью, душа требует питья. Теперь, едва завидев даже крохи, я буду бросаться и сжирать их. Если главное – это жить, я буду жить, пусть даже мне придется стать каннибалом. До сих пор я старался сохранить свою драгоценную шкуру, остатки мяса, которые все еще были на костях. Теперь меня это больше не беспокоит. Мое терпение лопнуло. Я плотно прижал к стене, мне некуда отступать. Исторически я мертв. Если есть что-нибудь в потустороннем мире, я выскочу назад. Я нашел Бога, но он мне не поможет. Мой дух мертв. Но физически я существую. Существую, как свободный человек. Мир, из которого я ухожу, – это зверинец. Поднимается заря над новым миром – джунглями, по которым рыщут голодные призраки с острыми когтями. И если я – гиена, то худая и голодная. И я иду в мир, чтобы откормиться.

7

Как мы условились, в половине второго я зашел к ван Нордену. Он предупредил меня, что если сразу не откликнется, значит, он с кем-то спит, вероятно, со своей шлюхой из Джорджии.

95

Ван Норден лежал, все еще завернутый в теплое одеяло, но уже, как всегда, усталый. Он просыпается с проклятиями и проклинает все – себя, свою работу, свою жизнь; он открывает глаза с тоской и скучой, и мысль, что он не умер этой ночью, гнетет его.

Я сажусь у окна и стараюсь подбодрить его как могу. Это довольно утомительное занятие. Нужно выманить его из кровати. По утрам (а его утро – от часа до пяти часов вечера) ван Норден погружен в задумчивость. Обычно он думает о прошлом – о своих бабах. Он старается вспомнить, хорошо ли им было, что они говорили в известные критические моменты, где это происходило и т.д. Он лежит, то ухмыляясь, то бормоча проклятья, и забавно шевелит пальцами, как бы стараясь показать этим, что его отвращение к жизни невозможно выразить словами – настолько оно велико. Над постелью на стене висит сумка со спринцовкой, которую он держит для экстренных случаев – для невинных девушек, которых выслеживает, как собака-ищейка. Но даже когда он уже переспал с этими мифическими созданиями, он продолжает

называть их девушки и почти никогда не зовет по имени. "Моя целка", – говорит он; точно так же он говорит и "эта шлюха из Джорджии". Направ-
96

ляясь в уборную, он дает мне указания: "Если позвонит эта шлюха из Джорджии, скажи ей, пусть подождет. Скажи, что я так сказал. Слушай, бери ее себе, если хочешь. Она мне уже надоела".

Он смотрит в окно и глубоко вздыхает. Если идет дождь, он говорит: "Черт бы побрал этот ебаный климат! От него у меня меланхолия". Если на дворе яркое солнце: "Черт бы побрал это ебаное солнце! Я от него только слепну". Начав бриться, он внезапно вспоминает, что нет чистого полотенца. "Черт бы побрал эту ебаную гостиницу!.. Разве могут эти скупердяи каждый день менять полотенца!" Что бы он ни делал, куда бы ни пошел, все будет не по нем. К тому же эта "ебаная страна", эта "ебаная работа" и эта "ебаная шлюха" вконец подорвали его здоровье.

"Все зубы сгнили, – говорит он, полоща горло. – Это от здешнего ебаного хлеба". Ван Норден широко открывает рот и оттягивает нижнюю губу. "Видишь? Вчера выдral себе шесть зубов. Пора вставлять вторую челюсть. А все от чего? От работы ради куска хлеба. Когда я был босяком, у меня все зубы были на месте, а глаза – светлые и ясные. А теперь? Посмотри на меня! Это чудо, что я еще могу иметь дело с бабами. Господи, чего бы мне

97

хотелось, так это найти богатую бабу, как у этого хитрюги Карла! Он показывал тебе когда-нибудь ее письма? Ты не знаешь, кто она? Сволочь, он не говорит мне. Боится, что я ее отбью, – ван Норден положет горло еще раз, потом долго рассматривает дупла в зубах. – Тебе хорошо, – добавляет он грустно. – У тебя по крайней мере есть друзья. А у меня никого, кроме этого мудака, который действует мне на нервы, рассказывая о своей богатой бл..."

"Послушай, – продолжает он, – ты не знаешь такую Норму? Она всегда сшивается в кафе "Дом". Мне кажется, что она – и нашим, и вашим. Вчера я привел ее сюда, пощекотал ей задницу. Ничего не вышло. Я затащил ее на кровать... даже снял с нее штаны... Но потом мне стало противно. Хватит с меня этих развлечений. Овчинка выделки не стоит. Хочет – хорошо, не хочет – не надо, а время терять глупо. Пока ты возишься с такой стервой, может быть, десять других сидят на террасе и умирают, чтоб их кто-нибудь отодрал. Это факт. Они затем сюда и приходят. Жалкие дуры... Думают, что здесь какой-то вертеп! Некоторые из этих учительниц с Запада – настоящие целки. Уверяю тебя! Они только об этом и мечтают. Над ними не надо много работать – им самим до смерти хочется... У меня

98

была на днях замужняя баба, которая сказала мне, что ее полгода никто не драл – можешь себе представить! Вошла в такой раж – я уж боялся, хуй мне оторвет. Все время стонала и спрашивала: "А ты? А ты?" – прямо как ненормальная. И знаешь, чего эта сука хотела? Переехать ко мне. Можешь себе представить? Спрашивала, люблю ли я ее. А я даже не знал, как ее зовут. Я ведь никогда не спрашиваю, как их зовут... для чего это мне? А замужние! Боже мой, если б ты только мог видеть всех этих замужних баб, которые приходят сюда, у тебя бы не осталось никаких иллюзий. Они хуже целок – замужние. Даже не ждут, пока ты раскачашься, – сами лезут тебе в штаны. А потом говорят о любви. Тошно слушать. Знаешь, я просто начинаю ненавидеть баб!"

Он опять смотрит в окно. Моросит. Уже шестой день.

– Пойдем в "Дом", Джо. – Я называю его "Джо", потому что он сам себя так называет. Когда Карл с нами, он тоже Джо. Все у нас Джо, это проще. К тому же приятно не относиться к себе слишком серьезно.

Одеваясь, ван Норден опять впадает в полусонное состояние. Надев шляпу набекрень и просовывая руку в рукав пальто, он начинает мечтать вслух о Ривьере, о солнце, о том, как

99

было бы хорошо вообще ничего не делать. "Все, чего я хочу в жизни, – говорит он задумчиво, – это читать, мечтать и ебаться – и так все время. – Произнося это, он смотрит на меня с мягкой, вкрадчивой улыбкой. – Как тебе нравится моя улыбка? – спрашивает он и добавляет с отвращением: – Господи, где мне найти богатую бабу, которой бы я мог так улыбаться?"

"Теперь только богатая баба может меня спасти... – На лице его появляется выражение усталости. – Это так утомительно – все время гоняться за новой бабой. Есть в этом что-то механическое. Беда в том, что я не могу влюбиться. Я слишком большой эгоист. Женщины только помогают мне мечтать. Я знаю, что это порок – как пьянство или опиум. Каждый день мне нужна новая баба, и если ее нет, я становлюсь мрачным. Я слишком много думаю. Иногда меня и самого удивляет, как я быстро с ними управляюсь и как мало это все для меня значит. Я делаю это автоматически. Иной раз я даже не думаю о них и вдруг вижу, на меня кто-то смотрит, и опять все сначала. Едва я успеваю понять, что происходит, как она уже здесь. Я даже не помню, что я им говорю. Я привожу их сюда, наверх, шлепаю по жопе – и прежде чем я пойму, в чем дело,

100

все уже кончено. Это как сон... Ты меня понимаешь?"

Он не любит француженок. Просто не переносит. "Они хотят или денег, или замуж. По существу все они проститутки. Нет, я предпочитаю иметь дело с целками... – говорит он. – Они создают хоть какую-то иллюзию. Они по крайней мере сопротивляются".

Тем не менее, когда мы смотрим на террасу кафе, там нет ни одной проститутки, которую бы он уже не употребил. Стоя в баре, он показывает их мне, описывая их анатомические особенности, плохие и хорошие качества. "Они все фригидны", – говорит он, но тут же потирает руки и делает движение, точно рисует

женскую фигурку в воздухе – он уже весь поглощен мыслями о хорошенъких сочных "целках", которым "до смерти хочется".

Вдруг он замирает, но уже через мгновенье возбужденно хватает меня за руку и указывает на нечто слоноподобное, усаживающееся на стул. "Это моя датчанка, – мычит он. – Видишь эту жопу? Датская. Если б ты знал, как она обожает это дело! Как умоляет меня. Поди сюда... посмотри с этой стороны. Посмотри только на эту сраку. Невероятная! Когда она влезает на меня, я не могу даже обхватить ее. Она заслоняет собой мир. Я чувствую себя ка-

101

ким-то червячком, который ползает у нее внутри. Не знаю, почему она мне так нравится, наверное, из-за этой жопы. Бред какой-то. И складки на ней! Нет, такая срака не забывается! Это факт... абсолютный факт. Другие надоедают или создают лишь минутную иллюзию, но эта – нет. Бабу с такой роскошной жопой нельзя забыть. Это как спать с памятником!"

Датчанка возбуждает его. Куда-то пропала прежняя вялость. Глаза лезут на лоб. Одно цепляется за другое. Он говорит, что хочет уехать из этой "е...ной" гостиницы – шум действует ему на нервы. И он хочет написать книгу, но проклятая работа отнимает все его время. Ему хочется занять чем-нибудь свой ум. "Она высасывает меня, эта е...ная работа. Я не хочу писать о Монпарнасе... Я хочу писать о своей жизни, о том, что я думаю... хочу вытрясти все дермо из своего нутра. Слушай, бери вон ту! Когда-то давно я имел с ней дело. Она все околачивалась возле кафе "La Allée". Забавная сучонка. Она ложится на край кровати и задирает юбки. Ты когда-нибудь пробовал так? Неплохо. Она не торопила меня. Просто лежала и играла со своей шляпой, пока я ее наворачивал. И когда я кончил, спрашивала равнодушно: "Ты уже?" Как будто ей все рав-

102

но. Да, конечно, все равно, я прекрасно это знал... но чтоб такое безразличие. Мне это даже понравилось... Это было просто очаровательно. Вытираясь, она напевала... И когда уходила из гостиницы – тоже. Даже не сказала "Au revoir!"¹. Уходит вот так, крутит шляпу и мурлычет под нос. Что значит настоящая шлюха! Но при этом – женщина до мозга костей. Она мне нравилась больше, чем любая целка... Драть бабу, которой на это в высшей степени наплевать, – тут есть что-то порочное. Кровь закипает... – Потом, подумав немного: – Можешь себе представить, что было бы, если б она хоть что-нибудь чувствовала?" – Послушай, – говорит он чуть погодя. – Пойдем со мной в клуб завтра после обеда... Там будут танцы.

– Завтра не могу, Джо. Я обещал помочь Карлу...

Вот уже полгода, а может и больше. Карл переписывается с Ирен, с этой богатой курвой. С некоторых пор я стал заходить к Карлу каждый день, чтобы довести этот роман до логи-

¹ До свидания (франц.).

103

ческого завершения, потому что, если дать волю Ирен, он будет продолжаться бесконечно долго. В последние несколько дней какой-то поток писем хлынул и в ту и в другую сторону. В заключительном письме было почти сорок страниц, к тому же на трех языках. Это было настоящее попурри – отрывки из старых романов, выдержки из воскресных газет, переделанные старые письма Илоне и Тане, вольные переложения из Рабле и Петрония – короче говоря, мы работали в поте лица и совсем выдохлись. И вот наконец Ирен решила вылезти из своей раковины. Наконец пришло письмо, в котором она назначила Карлу свидание в своем отеле. Со страху Карл намочил штаны. Одно дело переписываться с женщиной, которую ты никогда не видел, и совершенно другое – идти к ней на любовное свидание. В последний момент он до того разнервничался, что я думал, мне придется его заменить. Вылезая из такси перед отелем, он так дрожал, что я сначала должен был прогуляться с ним по кварталу. Он выпил два перно, но это не произвело на него ни малейшего действия. Один только вид отеля чуть не убил его. Отель, правда, был жутко претенциозный, из тех, где в огромном холле часами сидят англичане и пустыми глазами смотрят в пространство. Чтобы Карл не

104

сбежал, я стоял рядом с ним, пока швейцар звонил по телефону, докладывая о его приходе. Ирен ждала его. У лифта Карл бросил на меня последний отчаянный взгляд, точно собака, на шею которой накинули веревку с камнем. Но я уже выходил через врачающиеся двери, думая о ван Нордене...

Я вернулся в гостиницу и стал ждать телефонного звонка. У Карла был всего час до начала работы, и он обещал позвонить мне и рассказать о результатах свидания. Я просмотрел копии наших писем, стараясь представить, что происходит в отеле, но у меня ничего не вышло. Письма Ирен были много лучше наших. Они были искренни, это несомненно. Карл и Ирен наверняка уже познакомились поближе. Или он все еще пишет в штаны?

Звонит телефон. Голос в трубке какой-то странный, писклявый, одновременно испуганный и торжествующий. Карл просит меня заменить его в редакции. "Скажи этим сукиным детям что хочешь... Скажи, что я умираю..."

– Послушай, Карл... Можешь ты мне сказать...

– Алло? Это Генри Миллер? Женский голос. Голос Ирен. Она здоровается со мной. По телефону ее голос звучит

105

прелестно... просто прелестно. Меня охватывает паника. Я не знаю, что ей ответить. Я хотел бы сказать: "Послушайте, Ирен, вы прелесть... вы очаровательны". Я должен сказать ей хотя бы одно искреннее слово, как бы глупо оно ни звучало, потому что сейчас, когда я слышу наконец ее голос, все переменилось. Но пока я собирался с мыслями, трубку опять взял Карл и запищал:

– Ты нравишься ей, Джо... Я ей все про тебя рассказал...

На следующий день в полдень я стучусь к Карлу. Он уже встал и намыливает подбородок. По выражению его лица я ничего не могу определить, не знаю даже, скажет ли он мне правду.

Вдруг ни с того ни с сего он начинает говорить – сперва бессвязно, потом яснее, отчетливее и определеннее.

Когда он вошел, Ирен была в халате. На комоде стояло ведерко с шампанским. В номере – полуутма и приятный звук ее голоса. Карл подробно рассказывает мне о номере, о шампанском, о том, как гарсон его открыл, как хлопнула пробка, как шуршал халат Ирен, когда она подошла к нему поздороваться, –

106

словом, обо всем, кроме того, что меня интересует.

Я не знаю, верить Карлу или нет, особенно после всех этих писем, которые мы стряпали. Я даже не знаю, верить ли своим ушам, потому что он говорит совершенно невероятные вещи. Он улыбается все время, как маленький розовый клоп, который до отвала напился крови.

В десять Ирен лежит на диване и держит в руках свои груди. Так он мне это рассказывает – в час по чайной ложке. В одиннадцать все было решено: они вместе бегут на Борнео. К чертовой матери мужа, она его никогда не любила. Она никогда не написала бы первого письма, если бы ее муж не был пороховницей без пороха.

И тут наконец Карл стал рассказывать мне со всеми подробностями, что произошло потом. Он наклонился и поцеловал ее груди, а после этих страстных поцелуев он запихнул их обратно в корсаж или как это там называется. И потом – еще бокал шампанского.

Около полуночи приходит гарсон с пивом и бутербродами с икрой. Все это время Карлу, по его словам, до смерти хотелось писать. Один раз у него была эрекция. Но потом пропала. Мочевой пузырь мог лопнуть в любую

107

минуту, но этот мудак Карл решил, что должен быть джентльменом.

В половине второго ночи Ирен хочет заказать экипаж и ехать кататься в Булонский лес. А у него в голове только одна мысль – как бы пописать. "Я люблю вас... обожаю, – говорит он. – Я поеду с вами хоть на край света – в Сингапур, в Стамбул, в Гонолулу, но... сейчас я должен бежать... уже поздно..."

– Но ты можешь что-то о ней сказать – или это все гнусная ложь?

– Постой... – говорит он. – Погоди... дай подумать. Нет, она не красавая. В этом я сейчас уверен. Я припоминаю... седой локон на лбу... Но это не беда, я почти забыл... А вот руки... такие худые... такие худые и тонкие... – Он начинает ходить взад и вперед по комнате и вдруг останавливается как вкопанный. – Если бы только она была лет на десять моложе! – восклицает он. – Если бы она была моложе лет на десять, я бы наплевал и на седой локон и на тощие руки. Но она стара, понимаешь, стара. У такой бабы каждый год идет за десять. Через год она будет старше не на год, а на десять лет! Через два – на двадцать. А я еще буду молод по меньшей мере лет пять...

Я обещал зайти к ней во вторник, около пяти. Вот это уже будет по-настоящему плохо.

108

У нее морщины, а они гораздо заметнее при солнечном свете. Наверное, она хочет, чтобы я употребил ее во вторник. Но пойми, употреблять такую бабу при дневном свете – это просто катастрофа. Особенно в таком отеле... Вечером в выходной еще куда ни шло... Но во вторник я работаю. И потом я обещал написать ей письмо до вторника... Как я могу теперь ей писать? Мне нечего сказать. Вот идиотское положение! Ах, если бы она была ну хоть немного моложе... Как ты думаешь, ехать мне с ней... на Борнео или куда она там хочет меня везти? Но что я буду делать с этой богатой курвой на руках? Я не умею стрелять, я боюсь ружей и всяких таких вещей. Кроме того, она захочет, чтобы я наворачивал ее день и ночь... А все время охотиться и наворачивать я тоже не могу!

– Может, это будет не так уж плохо. Она купит тебе галстуки и прочее...

– Может, ты поедешь с нами, а? Я рассказал ей о тебе...

– Послушай, ты говоришь, она богата? В таком случае она мне уже нравится! Мне наплевать, сколько ей лет, лишь бы не оказалась ведьмой...

– Ведьмой? О чем ты говоришь? Это обаятельная женщина. Она хорошо говорит, да и выглядит тоже... если бы не эти руки...

109

– Ну, если только руки, это пустяки. Я буду ее употреблять, если ты не хочешь. Скажи ей об этом. Но только не в лоб. С такой женщиной надо действовать осторожно. Приведи меня к ней, и пусть все идет своим чередом. Расхваливай меня до небес. Прикинься, что ты ревнуешь. Черт подери, может быть, мы будем драть ее вместе, на пару? И поедем вместе, и будем жить вместе... будем раскатывать на автомобилях, охотиться и прилично одеваться. Если она хочет ехать на Борнео, пусть берет нас обоих.

– Послушай, Джо, займись ею сам... тогда все пойдет как по маслу... Может быть, я тоже употреблю ее... как-нибудь в выходной. Уже четвертый день не могу посрать нормально. Какие-то шишки в заднице, как виноградины...

– Это просто геморрой.

– У меня выпадают волосы... и мне надо к зубному. Я разваливаюсь на части... Я сказал ей, что ты хороший парень... Ну сделай это для меня, а? На что ты скорее согласился бы – быть калекой или работать... или жениться на богатой старухе? Ты бы женился – по глазам вижу. Все, о чем ты думаешь, – это как бы пожрать., А если б ты женился, а у тебя бы перестал стоять член – такое ведь бывает. Что

110

бы ты делал тогда? Ты был бы в ее власти. Ты ел бы из ее рук, как пудель. Как бы тебе это понравилось? Или ты не думаешь о таких вещах? Зачем тебе шикарные галстуки и роскошные костюмы, если у тебя не стоит? Тебе не удалось бы даже обманывать ее – она бы ходила за тобой по пятам. Нет, самое лучшее – жениться на ней и сразу же подцепить какую-нибудь болезнь. Только не сифилис. Холеру, например, или желтую лихорадку. Такую, чтобы ты остался калекой на всю жизнь, если бы вдруг чудом выжил. Тогда тебе не надо было бы беспокоиться ни о том, чем ее драть, ни о том, чем платить за квартиру. Она, наверное, купила бы тебе шикарное кресло на колесах – с резиновыми шинами, разными рычагами и прочим. Может, руки у тебя будут работать настолько, что ты сможешь писать. А нет – заведешь секретаршу. Это то, что нужно, – лучший выход из положения для писателя.

На следующий день в половине второго я иду к ван Нордену.

– Этот тип, – начинает он, подразумевая, конечно, Карла, – этот тип – настоящий художник. Он описал мне все в мельчайших подробностях...

Он прерывает себя и осведомляется, рассказал ли мне Карл всю историю. Ван Нордену

111

и в голову не приходит, что Карл мог рассказать мне одно, а ему – другое. Ван Норден считает само собой разумеющимся, что Карл хорошо ее сделал. Но мучительнее всего ему сознавать, что то, о чем рассказывал Карл, могло быть на самом деле.

– Вполне в его духе, – говорит ван Норден, – хвастаться, что он употребил ее шесть или семь раз. Я знаю, что он врет, но меня это не волнует. Но когда он рассказывает мне, как она наняла машину и повезла его в Булонский лес и как они закрыли ноги меховым пальто ее мухи, – это уже чересчур.

Подожди... наверное, он тебе рассказал все это... Говорил он тебе, как стоял на балконе при лунном свете и целовал ее? Этот мудак держит женщину в объятиях – и мысленно уже пишет ей новое цветистое письмо о залитых луной крышах и прочей ерунде, которую он ворует у своих французских писателей. Я проверил – этот тип ни разу не сказал ничего оригинального. Если бы я не знал, что ты был с ним в отеле, я вообще не поверил бы, что эта женщина существует. Я понимаю, можно увлечься его письмами.. но, как ты думаешь, что она должна была почувствовать, когда его увидела?

112

После этой сцены на балконе, которую он преподнес мне на закуску, он рассказал, как они вернулись в номер и он расстегнул ей пижаму... Чего ты улыбаешься? Ты думаешь, он мне крутит яйца?

– Нет, нет! Это – слово в слово то, что он рассказал мне. Продолжай...

– После этого, – тут уж ван Норден начинает улыбаться и сам, – после этого, по его словам, она села в кресло и задрала ноги... совершенно голая... а он сел на пол, и смотрел на нее, и говорил ей, как она хороша... он сказал тебе, что она точно сошла с картины Матисса? Погоди... Я хочу вспомнить точно, что он мне сказал. Он ввернул здесь остроумную фразу насчет одалиски. Кстати, что такое одалиска? Он цитировал по-французски, и эта ебаная фраза вылетела у меня из головы... но звучало здорово. Если окажется, что он наврал, я задушу этого недоноска. Никто не имеет права выдумывать такие вещи. Или он просто больной...

О чем я говорил?.. Да, о том моменте, когда, по его словам, он стал перед ней на колени и двумя костлявыми пальцами раскрыл ей п... Помнишь? Он говорит, что она сидела на ручке кресла и болтала ногами, и он ощутил прилив вдохновения. Это уже после того, как он

113

поставил ей пару пистонов... после того, как он упомянул о Матиссе... Он становится на колени – ты послушай! – и двумя пальцами... причем только кончиками, заметь.. открывает лепестки... сквиши-сквиши!.. ты слышишь! Легкий влажный звук. еле слышный... Сквиши-сквиши! Господи, он звучал у меня в ушах всю ночь! А потом – точно мне еще было мало – он говорит, что зарылся головой у нее между ног. И когда он это сделал, будь я проклят, если она не закинула ему ноги на шею и не обняла его. Это добило меня окончательно! Представь только – умная, утонченная женщина закидывает ноги ему на шею В этом есть что-то Ядовитое. Это до того фантастично, что похоже на правду! Если б он рассказал только о шампанском, поездке по Булонскому лесу и даже о сцене на балконе – я бы еще мог думать, что он врет. Но это... это так невероятно, что уже не похоже на вранье. Я не верю, что он вычитал это где-нибудь, и не понимаю, как он мог придумать такое, если только он действительно это придумал. С таким маленьким говнюком все может случиться. Если даже она не легла под него, она могла позволить ему сделать *это* – никогда не знаешь, что эти богатые курвы придумают...

114

Когда ван Норден наконец вылезает из постели и начинает бриться, день уже подходит к концу. Приходит горничная посмотреть, готов ли он, – он должен был освободить номер к полудню. Ван Норден надевает штаны.

Ван Норден берет с камина бутылку кальвадоса и кивает мне, чтобы я взял другую.

– Не стоит перевозить это дерньмо... прикончим его тут. Только не предлагай ей... Паршивая стерва! Я не оставлю ей даже клочка туалетной бумаги. Мне хочется испоганить эту комнату окончательно перед тем, как я уеду... Послушай... если хочешь, помочись на пол.. Я бы наложил в ящик шкафа, если б мог...

Злость ван Нордена на себя и на весь мир так велика, что он не знает, как ее выразить. Подойдя с бутылкой к кровати, он поднимает одеяло и простили и льет вино на матрац. Не удовлетворившись этим, начинает ходить по нему в ботинках. К сожалению, на них нет грязи. Тогда ван Норден берет простили и вытирает ею ботинки. "Пусть у них будет занятие", – бормочет он с ненавистью. Набрав в рот вина, он закидывает голову и с громким бульканьем полощет горло, а потом выплевывает его на зеркало. "Вот вам, сволочи... Подотрите это после меня!" Он ходит по комнате,

115

что-то злобно бормоча себе под нос. Увидев дырявые носки на полу, он поднимает их и раздирает в клочки. Картины тоже приводят его в ярость. Он поднимает одну – это его собственный портрет, нарисованный его приятельницей-лесбиянкой, и ударом ноги рвёт. "Проклятая сука... ты знаешь, у нее хватило нахальства просить меня передавать ей моих б... после того, как я их уже использовал... Она не заплатила мне ни франка за то, что я написал о ней в газете... Она думает, что я действительно восхищаюсь ее художествами. Мне никогда бы не видеть этого портрета, если бы я не подкинул ей ту б... из Миннесоты... Она сходила с ума по ней... Преследовала нас, точно сука во время течки... мы не знали, как отделаться от этой стервы! Портила мне жизнь как могла... Дошло до того, что я боялся привести к себе бабу, потому что в любой момент она могла сюда заявиться... Я прокрадывался к себе домой, точно вор, и, едва переступив порог, запирался. Она и эта шлюха из Джорджии сводят меня с ума. У одной всегда течка, другая всегда голодная. Ненавижу я это... спать с голодной женщиной – все равно что заталкивать себе обед в рот и тут же вытаскивать его с другого конца... Да, кстати, вспомнил... куда я положил банку с синей мазью?

116

Это очень важно. У тебя когда-нибудь было такое? Это хуже триппера. И я даже не знаю, где подцепил... У меня здесь перебывало столько женщин за последнюю неделю, что я потерял счет. Очень странно... они все казались такими чистыми. Но ты знаешь, как это бывает..."

В такси нам едва хватило места для его барахла. Как только мы трогаемся, ван Норден вынимает газету и начинает заворачивать в нее свои кастрюли и сковородки – на новом месте запрещено готовить в комнатах. Когда мы наконец подъехали к гостинице, весь его багаж развязался и лежал в полном беспорядке.

Гостиница размещается в конце мрачного пассажа и своей прямоугольной планировкой напоминает новые тюрьмы.

Не успеваем мы завернуть к номеру 57, как внезапно распахивается дверь и прямо перед нами оказывается старая ведьма со спутанными волосами и глазами маньячки. От неожиданности мы застываем как вкопанные. За старой ведьмой я вижу кухонный стол, на котором лежит ребенок, совершенно голый и до того маленький и хилый, что напоминает оциппанного цыпленка. Старуха поднимает помойное ведро и идет по направлению к нам.

117

Дверь ее номера захлопывается: слышен пронзительный детский визг. Это – номер 56. Между ним и пятьдесят седьмым – уборная, где старуха и опорожняет свое помойное ведро.

После того как мы добрались до пятого этажа, ван Норден не произнес ни слова. Но выражение его лица говорит больше слов. Когда мы открываем дверь номера 57, мне вдруг кажется, что я сошел с ума. Огромное зеркало, завешенное зеленым газом, висит возле входа под углом в сорок пять градусов над детскими колясками со старыми книгами. Возможно, это и не произвело бы на меня такого странного впечатления, если бы на глаза мне не попались два велосипедных руля, лежащих в углу. Они лежат так мирно и покойно, точно были здесь всегда, и внезапно мне начинает казаться, что и мы здесь уже давно и что все это – сон, в котором мы застыли; сон, который может прервать любая мелочь, даже простое движение век. Но еще более поразительно, что это напоминает мне настоящий сон, виденный всего несколько дней назад. Тогда я видел ван Нордена точно в таком же углу, как сейчас, но вместо велосипедных рулей там была женщина, она сидела, подтянув колени к подбородку. Ван Норден стоял перед ней с

118

напряженным выражением лица, появляющимся у него всегда, когда он чего-нибудь очень хочет. Место действия я вижу точно в тумане, но угол и скрюченную фигуру женщины помню ясно. Во сне я видел, как ван Норден быстро подступал к ней, как хищное животное, которое не думает о последствиях и для которого важно только одно – немедленно достичь цели. На лице его было написано: "Ты можешь потом убить меня, но сейчас... сейчас я должен воткнуть его в тебя... должен... должен!" Он наклонился над ней, и их головы ударились об стену. Но у него была такая чудовищная эрекция, что близость оказалась невозможной. Тогда с выражением отчаяния, которое так часто появляется на его лице, он встает и застегивает ширинку. Он уже готов уйти, но в этот момент видит, что его пенис лежит на тротуаре. Размерами он с палку от метлы. Ван Норден равнодушно поднимает его и сует под мышку. И тут я замечаю, что на конце этой палки болтаются две огромные луковицы, похожие на тюльпанные, и слышу бормотание ван Нордена: "Горшки с цветами... горшки с цветами..."

Как я уже говорил, ван Норден, поднимаясь по лестнице, упомянул о том, что в этой гостинице когда-то жил Мопассан. Это, оче-

119

видно, произвело на него сильное впечатление. Ему хочется верить, что это та самая комната, где родились странные фантазии Мопассана, которые так упрочили его славу. "Они жили как свиньи, эти жалкие сволочи", – говорит он. Мы оба сидим около круглого стола в двух удобных старых креслах, подвязанных веревками и проволокой; рядом – кровать, так близко, что можно положить на нее ноги. Комод

стоит позади нас, до него тоже можно дотронуться. Ван Норден вывалил грязное белье прямо на стол; мы сидим, положив ноги на его старые носки и грязные рубашки, и мирно покуриваем. Это убожество, по-видимому, пришлось ван Нордену по душе, во всяком случае, вид у него вполне довольный. Когда я встаю, чтобы зажечь свет, он предлагает сыграть в карты, а потом пойти пообедать. Мы садимся возле окна, среди разбросанного грязного белья, и играем несколько партий в бэзик под свисающей с канделябра пружиной для упражнений по системе Сэндоу. Ван Норден спрятал свою трубку и набил рот жевательным табаком. Время от времени он сплевывает коричневую жижу за окно; она шлепается на тротуар с громким хлюпаньем. Видимо, он действительно доволен.

120

"В Америке, – говорит он, – и во сне не приснится жить в таком свинарнике. Иногда, лежа в постели, я думаю о своем прошлом и вижу его так реально, что мне нужно ущипнуть себя, чтобы вспомнить, где я. Особенно когда рядом женщины. Знаешь, с женщинами я легко забываюсь. Это, собственно, все, чего я хочу от них, – чтоб помогли мне забыться. Иногда я так ухожу в себя, что не могу даже вспомнить – как бабу зовут и где я ее подцепил. Смешно, правда? Хорошо, проснувшись утром, почувствовать рядом с собой свежее теплое тело, тогда и сам чувствуешь себя чистым. Это возвышает... пока они не заводят свою обычную песню насчет любви и так далее... Ты можешь мне сказать, почему бабы столько говорят о любви? Что ты хороший ебарь, им недостаточно, они непременно хотят еще и твою душу..."

Слово "душа" часто всплывало в рассуждениях ван Нордена. Сначала оно меня смешило, потом дтоводило чуть не до истерики; в его устах это слово звучало на редкость фальшиво, особенно потому, что обыкновенно он сопровождал его жирным коричневым плевком, оставлявшим след в углу рта. Я никогда не стеснялся смеяться ему в лицо, и у него даже выработалась привычка делать паузу по-

121

еле этого слова, чтобы я отходился, и только потом как ни в чем не бывало продолжать свой монолог, повторяя это слово все чаще и нежнее. Он старался убедить меня, что все женщины хотят добраться до его души. Он объяснял мне это много раз, снова и снова возвращаясь к этой теме, как параноик – к своей навязчивой идеи. Я совершенно уверен, что ван Норден слегка помешан. Больше всего на свете он боится оставаться один. Это 'глубокий и постоянно преследующий его страх, настолько глубокий, что даже в минуту соединения с женщиной он не может сбежать из этой тюрьмы, в которую сам себя заточил.

– Я пробую самые разные способы, – объясняет он мне. – Я даже иногда считаю в уме или думаю на философские темы, но ничто не помогает. Как будто я – это два человека и один все время наблюдает за тем, что делает другой. Я так злюсь на самого себя, что готов себя убить... собственно, именно это и происходит всякий раз, когда у меня оргазм. На какой-то миг я словно исчезаю вообще.. От моих обеих личностей ничего не остается... все исчезает.. даже п... Это вроде причащения. Честное слово. Несколько секунд я чувствую духовное просветление... и мне кажется, что оно будет продолжаться вечно – как знать? Но потом я

122

вижу женщину и спринцовку и слышу, как льется вода... эти маленькие детали... и опять становлюсь таким же потерянным и одиноким.. И вот за единственный миг свободы приходится выслушивать всю эту чушь о любви... Иногда я просто стервенею... мне хочется выкинуть их вон немедленно..., бывает, я так и делаю. Но это их ничему не учит. Им это даже нравится. Чем меньше ты их замечаешь, тем больше они за тобой гоняются. В женщинах есть что-то извращенное... они все мазохистки в душе.

– Что же тогда тебе надо от женщины? – спрашиваю я.

Он разводит руками – это его обычный жест. Нижняя губа отвисает, и весь его вид демонстрирует полную растерянность.

– Мне хочется отдаваться женщине целиком... – старается он объяснить. – Мне хочется, чтобы она отняла меня у самого себя... Но для этого она должна быть лучше, чем я; иметь голову, а не только п... Она должна заставить меня поверить, что она нужна мне, что я не могу жить без нее. Найди мне такую бабу, а? Если найдешь, я отдаю тебе свою работу. Тогда мне не нужна ни работа, ни друзья, ни книги, ничего. Если только она сумеет убедить меня, что в мире есть что-то более важное, чем

123

я сам. Господи, как я ненавижу себя! Но этих сволочных баб я ненавижу еще больше, потому что ни одна из них не стоит и плевка.

Есть только одна женщина, которую он пытается уложить в постель вот уже почти десять лет – сперва в Америке, а потом тут, в Париже. Это единственная женщина, с которой у него самые сердечные взаимоотношения. Они не только любят, но и понимают друг друга. Вначале я думал, что, если бы он мог достичь своей цели, его проблема была бы разрешена. У них имелось все необходимое для успешного союза, за исключением самого главного. Бесси в своем роде почти такой же необычный человек, как он. Отдаваться мужчине для нее все равно что съесть сладкое после обеда. Обычно, выбрав объект, она сама делает предложение. Она не дурнушка, но и не особенно привлекательна. У нее хорошее тело, что, конечно, главное, и она, как говорится, его любит.

Они с ван Норденом были так дружны, что иногда ван Норден, чтобы удовлетворить ее любопытство (и в тщетной надежде возбудить ее), позволял ей прятаться в шкафу во время своих любовных сеансов. Когда ван Норден (оставался один, Бесси вылезала из своего укрытия, и они обсуждали все самым подробным

124

образом, обращая особое внимание на "технику". Это был их конек, во всяком случае, "техника" постоянно фигурировала в разговорах, которые они вели в моем присутствии. "Что неправильно в моей

технике, по-твоему?" – спрашивал он. И Бесси отвечала: "Ты слишком примитивен. Если ты собираешься меня употребить, тебе надо стать изощреннее".

Как я уже сказал, между ними было поразительное взаимопонимание, и часто я, прия в половине второго к ван Нордену, заставал у него Бесси. Обычно она сидела на кровати, одеяло было откинуто, и ван Норден уговаривал ее погладить ему пенис: "Ну, пожалуйста, всего несколько легких прикосновений... это придаст мне храбрости, чтоб вылезти из постели". В другой раз он просил Бесси, подуть на свой пенис, но, получив отказ, быстрым движением хватал его и тряс, как обеденный колокольчик; при этом оба умирали со смеху. "Я никогда не справлюсь с этой стервой..." – говорил он. – Она не уважает меня. И все почему? Потому что я открыл ей свою душу". И тут же, обращаясь к Бесси, спрашивал: "Как тебе понравилась вчерашняя блондинка?" Бесси подтрунивала над ним, говоря, что у него нет вкуса. "Что тынесешь! – отмахивался он и добавлял, вероятно, в тысячный раз, потому

125

что это стало звучать как старая шутка: – Послушай, Бесси, как бы перепихнуться чем Бог послал? Хоть бы насуро, а? – В ответ она смеялась, а он продолжал тем же тоном, указывая на меня: – А как насчет него? Почему ты не даешь ему?"

Все дело было в том, что Бесси не хотела или не могла относиться к этому занятию холодно. Она говорила о "страсти", как будто это было новое слово, которое она сама изобрела. При этом она действительно ко всему относилась со страстью, даже к такому малозначащему для нее явлению, как секс. Она должна была вложить в него душу.

– Я тоже иногда бываю страстным... – говорил ван Норден.

– Ты?! Не валяй дурака. Ты просто потрапанный сатир. Ты даже не знаешь, что такое страсть. Эрекцию ты принимаешь за страсть.

– Хорошо, допустим, эрекция не страсть... Но нельзя быть страстным без эрекции. Это-то ведь факт.

По дороге в ресторан я думаю о Бесси и о других женщинах, которых ван Норден каждый день таскает к себе. Я уже так привык к его монологам, что научился не прерывать ход собственных мыслей, слушая его и только время от времени, когда его голос затихает,

126

подавая автоматически реплики. Собственно, мы представляем собой хорошо слаженный дуэт, и, как во всех дуэтах, один из музыкантов лишь внимательно ждет сигнала, чтобы вступить.

Незадолго до рассвета мы сидели на террасе кафе "Дом". Обычно в это время, когда ночь почти на исходе, постепенно возрастающее возбуждение ван Нордена достигает апогея. Он думает о женщинах, которых упустил в течение вечера, и о тех "постоянных", которым только свистнуть, но ими он уже сыт по горло. Он опять вспоминает свою "шлюху из Джорджии", которая последнее время не дает ему покоя и просит, чтобы он разрешил ей пожить у него в номере – хотя бы до тех пор, пока она не найдет себе работу. "Я ничего не имею против того, чтоб иногда ее подкормить, – говорит он. – Но взять ее на постоянное жительство я не могу... как же тогда я буду приводить других баб?" Что его особенно расстраивает, так это ее худоба. "С ней спать – все равно что со скелетом, – говорит он. – Дня два назад я взял ее к себе – из жалости – и что, ты думаешь, эта ненормальная сделала? Она побрилась, ты понимаешь... ни волоска между

127

ногами. У тебя когда-нибудь была женщина с бритой п...? Это безобразно. Ты не согласен? К тому же смешно. Да и дико. Это уже не п..., а ракушка какая-то". Его любопытство было настолько велико, рассказывает ван Норден, что он не поленился и вылез из постели, чтобы найти электрический фонарик. "Я заставил ее раскрыть эту штуку и направил туда луч. Тебе надо было меня видеть... прекрасная была сценка. Я до того увлекся, что даже забыл про бабу. Никогда в жизни я не рассматривал п... так внимательно. Можно было подумать, что я никогда ее раньше не видел. И чем больше я смотрел, тем менее интересной она мне казалась. Просто видишь, что ничего в ней нет интересного, особенно когда все кругом выбрито. Так хоть какая-то загадочность. Потому-то статуи и оставляют тебя холодным. Только один раз я видел статую с настоящей п... У Родена. Посмотри как-нибудь... такая, с широко расставленными ногами. Я даже не помню, была ли у нее голова. Только п... Ужасное зрелище! Дело в том, что все они одинаковы. Когда видишь их в одежде, чего только не воображаешь; наделяешь их индивидуальностью, которой у них конечно же нет. Только щель между ногами, но ты заводишься от нее, хотя на самом деле и не очень-то на нее

128

смотришь. Ты просто знаешь, что она там, и только и думаешь, как бы закинуть туда палку; собственно, это даже и не ты думаешь, а твой пенис. Но все это иллюзия. Ты загораешься от ничего.. от щели, с волосами или без волос. Она настолько бессмысленна, что я смотрел как завороженный. Я изучал ее минут десять или даже больше. Когда ты смотришь на нее вот так, совершенно отвлеченно, в голову приходят забавные мысли. Вся эта тайна пола... а потом ты обнаруживаешь, что это ничто, пустота. Подумай, как было бы забавно найти там губную гармонику... или календарь! Но там ничего нет... ничего. И вот это-то и противно. Я чуть не свихнулся... Угадай, что я после всего этого сделал. Я поставил ей быстрый пистон и повернулся задом... Взял книгу и стал читать... Из книги, даже самой плохой, всегда можно что-нибудь почерпнуть, а п... – это, знаешь ли, пустая траты времени..."

Заканчивая свой монолог, ван Норден замечает проститутку, которая подмигивает нам. Без малейшего перехода или подготовки он говорит мне: "Послушай, а что, если мы переспим с ней? Это не очень дорого... она возьмет нас обоих за те же деньги". И, не до-

129

жидаясь ответа, поднимается и идет к ней. "Все в порядке. Допивай пиво. Она голодная. Все равно сейчас мы не найдем ничего другого... Она возьмет нас обоих за пятнадцать франков. Пошли ко мне – так будет дешевле".

По дороге в гостиницу девица так дрожит от холода, что мы останавливаемся и заказываем ей кофе. Она оказалась довольно скромным существом и совсем недурна собой. Вероятно, она знает ван Нордена и знает, что от него ничего, кроме обещанных пятнадцати франков, не получишь. "Помни – у тебя нет денег", – говорит он мне вполголоса. У меня действительно нет ни сантима, и потому я не совсем его понимаю. Но тут он громко добавляет по-английски: "Ради Бога, прикинься, что мы без гроша. Не размякай, когда мы приедем ко мне. Она будет стараться вытянуть из нас прибавку, я знаю эту б...! Ее можно было бы подрядить и за десять франков, если бы я захотел. Зачем сорить деньгами?"

– Твой друг, наверное, большой скаред? – спрашивает девица по-французски, очевидно, догадываясь о теме нашего разговора.

– Ничего подобного. Он очень щедрый, – говорю я.

Она качает головой и смеется:

– Я хорошо знаю этого типа.

130

И тут же начинает обычную душераздирающую повесть про больницу, неоплаченную квартиру и ребенка в деревне. Однако она не пересаливает – ей известно, что все равно наши уши крепко запечатаны. Просто она не может отключиться от своих несчастий – это у нее точно камень внутри, который она перекатывает с места на место. Мне она нравится. Только бы она нас не заразила...

Когда мы приходим к ван Нордену, она начинает свои приготовления.

– Слушайте, нет ли у вас хоть сухарика? – спрашивает она, сидя на биде. Ван Норден смеется.

– Хвати глоточек этого, – говорит он, подавая ей бутылку.

Но она не хочет вина и объясняет, что у нее и так расстроен желудок.

– Ее обычные штучки, – говорит мне по-английски ван Норден. – Не давай ей себя разжалобить. Но все-таки лучше бы она говорила о чем-нибудь другом. Как, к черту, можно распасться с голодной б...?

Совершенно верно! Ни у меня, ни у него нет ни малейшего желания, а о ней и говорить нечего. Ждать от нее хотя бы искры страсти можно с таким же успехом, как ждать, что на ней окажется бриллиантовое ожерелье. Но

131

тут замешаны пятнадцать франков, и ни у нее, ни у нас уже нет хода назад. Это как война. Во время войны все мечтают о мире, но ни у кого не хватает мужества сложить оружие и сказать: "Довольно! Хватит с меня!"

Да, это действительно так, я не могу отключиться от сравнения с войной, наблюдая, как проститутка старается выжать из меня хоть какое-то подобие страсти, и я понимаю, каким никудышным солдатом я был бы, если бы по глупости попал на фронт. Случись такое, я бы плонул на все – на совесть, на честь, – лишь бы выбраться из этого капкана. К тому же у меня попросту нет вкуса к таким вещам, а тут уж ничего не поделаешь. Но проститутка думает только о пятнадцати франках, она не дает мне забыть о них, напротив, она побуждает меня к борьбе за них. Но как можно заставить человека идти в бой, если у него нет ни малейшей охоты воевать? Есть трусы, из которых не сделаешь героев, даже перепугав их насмерть. Не исключено, что у них слишком развитое воображение. Есть люди, которые не живут настоящим, их мысли или отстают, или забегают вперед. Мои мысли постоянно сосредоточены на мирном договоре. Я не могу по забыть, что все эти неприятности начались из за пятнадцати франков. Пятнадцать франков.

132

Да что мне в этих пятнадцати франках?! Тем более что они даже и не мои.

Ван Норден относится к происходящему более здраво. Ему тоже уже наплевать на пятнадцать франков, но сама ситуация увлекает его. В конце концов на карту поставлено его мужское самолюбие, достоинство самца, а пятнадцать франков все равно потеряны, независимо от того, выйдет у нас что-нибудь или нет. Однако на карту поставлено и еще кое-что – может быть, не только мужское самолюбие, но и сила воли.

Когда я смотрю на ван Нордена, взбирающегося на проститутку, мне кажется, что передо мной буксующая машина. Если чья-то рука не выключит мотор, колеса будут крутиться впустую до бесконечности. Зрелице этих двоих, сношающихся, точно коза с козлом, без малейшей искры страсти, трущихся друг о друга без всякого смысла, кроме смысла, заложенного в пятнадцати франках, заглушает во мне все чувства, кроме одного – какого-то нечеловеческого любопытства. Девица лежит на краю постели, и согнувшийся над ней ван Норден похож на сатира. Я сижу в кресле позади него и с холодным научным интересом наблюдаю за их движениями, и мне все равно, даже если они будут так двигаться

133

бесконечно. Они, в сущности, ничем не отличаются от тех безумных машин, что выбрасывают ежедневно миллионы, миллионы, триллионы газет с кричащими бессмысленными заголовками. Однако работа безумной машины все же разумней и интересней, чем работа этих двоих – работа, в результате которой в мир являются новые люди. Мой интерес к ван Нордену и его партнерше равен нулю; но если бы вот так, усевшись в кресло, я мог наблюдать за всеми парами на земном шаре, занятыми тем же делом, что и они, мне едва ли стало бы интереснее. Я не уловил бы разницы между этим занятием, дождем или извержением вулкана. Все это явления одного порядка, если в этом трении друг о друга нет даже намека на чувство, нет какой-то человеческой осмысленности. Право, машина мне интереснее. Эти двое тоже

напоминают машину, но машину, у которой соскочила шестеренка, только человеческая рука может им помочь. Им необходим механик.

Став на колени за ван Норденом, я проверяю машину более внимательно. Девица поворачивает голову и бросает на меня отчаянный взгляд. "Это бесполезно... – говорит она. – Невыносимо". Слыши эти слова, ван Норден начинает работать с удвоенной энергией, совер-

134

шенно как старый козел. Упрямый идиот, он скорее сломает рога, чем отпустит свою жертву. К тому же он начинает злиться на меня, потому что я щекочу ему крестец.

– Ради бога, Джо, остановись. Ты убьешь ее так!

– Оставь меня в покое, – огрызается он. – Я только что почти спустил!

Его решительный тон и поза снова напоминают мне мой сон. Только сейчас мне кажется, что палка от метлы, которую он, уходя, так спокойно подхватил под мышку, потеряна навсегда. То, что я вижу сейчас, – это как бы продолжение сна, его вторая глава: тот же ван Норден, но уже без мистической дели. Он как тот герой, что вернулся с войны, несчастный, искалеченный полуидиот, увидевший в реальности свою мечту. Когда он садится, стул разваливается под ним; когда он входит в комнату, она оказывается пуста; когда он кладет что-нибудь в рот, во рту остается противный привкус. Все как раньше, ничто не изменилось, все элементы те же, и мечта не отличается от реальности. Только пока он спал, кто-то украл его тело. Он как машина, выбрасывающая миллионы и миллионы газет каждый день, газет, заголовки которых кричат о катастрофах, революциях, убийствах, взрывах...

135

вах и авариях. Но он ухе ничего не чувствует. Если кто-нибудь не выключит мотор, он никогда не узнает, что такое смерть, – нельзя умереть, если твое тело украдено. Ты можешь взгромоздиться на шлюху и продолжать свое дело, как упрямый козел, до бесконечности;

все равно искра чувства не появится без вмешательства человеческой руки. Кто-то должен запустить руку в машину и отрегулировать ее, чтобы шестеренки стали на место. Кто-то, кто сделает это, не надеясь на награду и не думая о потерянных пятнадцати франках;

кто-то, чья грудь настолько слаба, что, если на нее повесить медали, она прогнется. И кто-то должен накормить умирающую от голода девку, не боясь, что ее придется кормить снова и снова. Иначе вся эта ерунда будет длиться бесконечно. Другого выхода нет...

Я лизал задницу заведующему редакцией целую неделю (это здесь принято) и получил место Пековера.

Должен предупредить с самого начала – я ни на что не жалуюсь. Но это похоже на сумасшедший дом, где вам разрешили мастурбировать до конца ваших дней. Весь мир приносит вам на подносе, и все, что от вас требуется,

136

это ставить знаки препинания в описаниях несчастий. Должен быть какой-то другой мир, кроме этого болота, где все свалено в кучу. Не могу себе представить, что это за царствие небесное, о котором так мечтает все человечество. Лягушачье, наверное. Тухлый воздух, тина, кувшинки, гниющая вода. Сиди себе на листьях кувшинок и квакай спокойно весь день. Я думаю, царствие небесное – это что-то в таком роде.

Все катастрофы, которые я корректирую, оказывают на меня самое благотворное действие. У меня прививки против всех болезней, всех катастроф, всех горестей, всех несчастий.

Самое страшное для корректора – это угроза остаться без работы. Когда мы собираемся вместе, вопрос: "Что вы будете делать, если потеряете работу?" – повергает нас в ужас. Конюху, убирающему навоз, кажется, что нет ничего страшнее, чем мир без лошади. Любая попытка объяснить ему, как безобразно существование человека, всю жизнь сгребающего горячее дермо, – идиотизм. Человек может полюбить навоз, относиться к нему с нежностью, если от этого зависят его благополучие и счастье.

Эту жизнь, которая была бы для меня горчайшим из унижений, будь я человеком с са-

137

молюбием, гордостью, запросами и т.д., – эту жизнь я сейчас приветствую, как калека приветствует смерть, приветствую, как царствие небесное, где нет болезней и нет ужаса перед концом. Все, что от меня требуется в этом нереальном мире, – орфография и пунктуация. Пусть происходит что угодно – главное, чтобы об этом было рассказано без ошибок.

Я должен был объехать вокруг света, чтобы найти такое удобное и приятное место. То, что со мной происходит, кажется почти невероятным. Мог ли я предвидеть в Америке, где вам втыкают в задницу ракеты, чтобы придать бодрости и храбрости, что самое идеальное занятие для человека с моим темпераментом – это охотиться за орфографическими ошибками? В Америке человек думает только о том, как ему стать президентом Соединенных Штатов. Там каждый – потенциальный президент. Здесь каждый – потенциальный нуль, и если вы становитесь чем-нибудь или кем-нибудь, это чистая случайность, чудо. Здесь тысяча шансов против одного, что вы никогда не выберетесь из родной деревни. Тысяча шансов против одного, что вам оторвет ноги или вы останетесь без глаз. Впрочем, может случиться чудо, и тогда вы будете генералом или вице-адмиралом.

138

Выходит, что все шансы здесь – против вас, но то, что у вас почти нет надежд, делает жизнь особенно приятной.

Мир без надежд, но и без уныния. Это как бы новая религия, в которую я перешел и теперь каждый вечер ставлю свечи перед Мадонной. Не знаю, что бы я выиграл, если бы меня сделали редактором этой газеты или даже президентом Соединенных Штатов. Я в безнадежном тупике – и чувствую себя в нем уютно и удобно.

Время от времени я получаю телеграммы от Моны, которая сообщает о своем приезде на очередном пароходе. В конце каждой телеграммы – "Подробности письмом". Это продолжается уже девять месяцев, но я не нахожу ее имени в списках пассажиров, а гарсон ни разу не приносил мне писем на серебряном подносе. Я уж перестал на все это реагировать. Если Мона когда-нибудь приедет, пусть ищет меня на первом этаже, за туалетом. Вероятно, она сразу же скажет, что сидеть рядом с уборной негигиенично. Первое, о чем начинает говорить американка в Европе, это санитарные условия, или, точнее, отсутствие таковых. Они не могут представить себе рая без водопровода. Если они находят клопа, то готовы писать жалобу в Торговую палату. Как я

139

могу объяснить ей, что мне здесь очень нравится? Она скажет, что я становлюсь дегенератом. Я знаю ее наизусть. Она будет искать ателье с садом и конечно же с ванной. Ей хочется быть бедной на романтический лад. Я знаю ее. Но на сей раз я готов ко всему.

Бывают, однако, солнечные дни, когда я схожу с наезженной колеи и начинаю жадно думать о Моне. Бывают дни, когда, несмотря на мою упрямую удовлетворенность собственной жизнью, я начинаю думать об иной жизни, начинаю представлять себе, что было бы, будь рядом со мной беспокойное молодое существо. Беда в том, что я почти забыл, как она выглядит и что я чувствовал, когда держал ее в своих объятьях. Все, что относится к прошлому, словно опустилось на дно морское; у меня есть воспоминания, но образы утратили свою живость, стали мертвыми и ненужными, как изъеденные временем мумии, застрявшие в сыпучих песках. Припоминая свою жизнь в Нью-Йорке, я вижу лишь страшные, покрытые плесенью обломки. Мне кажется, что мое собственное существование уже закончилось, но где именно, я не могу установить. Я уже не американец, не нью-йоркер, но еще менее европеец или парижанин. Я ничему не предан, у меня нет ни перед кем ответственности, нет

140

ненависти, нет забот, нет предубеждений и нет страстей. Я – ни "за", ни "против". Я нейтрален.

В быстро "Месье Поль", которое находится поблизости от редакции, задняя комната отведена специально для журналистов, и здесь мы можем есть и пить в кредит. Это приятная маленькая комната с опилками на полу и с мухами во все времена года. Когда я говорю, что она предназначена для журналистов, я не хочу сказать, что они едят здесь в уединении;

напротив, они имеют удовольствие общаться, притом самым тесным образом, с проститутками и их "котами", которые составляют значительный процент клиентуры месье Поля. Это обстоятельство вполне устраивает газетчиков, вечно рыщущих в поисках новой юбки, потому что даже те, у кого есть постоянные французские девочки, не прочь переспать иной раз на стороне. Главное, чего они боятся, – как бы не подцепить какую-нибудь венерическую болезнь; иногда в редакции начинается настоящая эпидемия, поскольку все они спят с одной и той же шлюхой. Во всяком случае, приятно видеть, как жалко они выглядят рядом с сутенером, который ведет по сравнению с ними роскошную жизнь, несмотря на превратности своей профессии.

141

Я надеюсь, вы согласитесь со мной, что сутенер – тоже человек. Не забывайте, что у сутенера свои горести, и печали. Может быть, это не слишком приятно – склоняясь над жененной, ощущать дыхание другого мужчины? Может быть, если все твоё состояние три франка, а все имущество – две белых собаки, – может, это лучше, чем целовать истрепанные губы? Держу пари, что, когда она притягивает его к себе и умоляет о любви, которую только он и может дать ей, – держу пари, что в этот момент он борется, как дьявол, чтобы разгромить полк, прошедший между ее ногами. Может быть, обхватив в темноте ее тело и пытаясь сыграть на нем новую мелодию, он не просто удовлетворяет свою страсть или свое любопытство, но сражается в одиночку с невидимой армией, взявшей приступом ворота, армией, которая прошла по ней, растоптав и оставив ее голодной – настолько, что даже Рудольф Валентино не смог бы утолить подобный голод.

Вот о чём я часто думаю, сидя в своем закутке и разбирай сообщения агентства "Ава" или распутывая ленты телеграмм из Чикаго, Лондона или Монреаля.

В синеве электрической зари ореховая скорлупа кажется бледной и раздавленной; на

142

монпарнасском берегу водяные лилии гнутся и ломаются. Когда предутренний отлив уносит все, кроме нескольких сифилитических русалок, застрявших в тине, кафе "Дом" напоминает ярмарочный тир после урагана. В течение следующего часа стоит мертвая тишина. В этот час смывают блевотину. Потом внезапно деревья начинают кричать. С одного конца бульвара до другого вскипает безумная песнь. Она как звонок на бирже, возвещающий о ее закрытии. Все оставшиеся мечты сметаются прочь. Наступает время последнего опорожнения мочевого пузыря. В город медленно, как прокаженный, вползает день...

В кафе "Авеню", куда я зашел перекусить, женщина с громадным животом старается завлечь меня своим интересным положением. Она предлагает пойти в гостиницу и провести там часик-другой. Впервые ко мне пристает беременная женщина. Я уже почти согласен. По ее словам, она сразу, как только родит и передаст ребенка полиции, вернется к своей профессии. Заметив, что мой интерес ослабевает, женщина берет мою руку и прикладывает к животу. Я чувствую, как там что-то шевелится, но именно это и отбивает у меня всякую охоту.

143

Нигде в мире мне не доводилось видеть таких неожиданных уловок, предназначенных для разжигания мужской похоти, как в Париже. Если проститутка потеряла передний зуб, или глаз, или ногу, она все равно

продолжает работать. В Америке она бы умерла с голоду. Там никто не соблазнился бы ее уродством. В Париже – наоборот. Здесь отсутствующий зуб, гниющий нос или выпадающая матка. усугубляющие природное уродство женщины, рассматриваются как дополнительная изюминка. могущая возбудить интерес пресыщенного мужчины.

Конечно, я говорю сейчас о мире больших городов, о мире мужчин и женщин, из которых машина времени выжала все соки до последней капли; я говорю о жертвах современного прогресса, о той груде костей и галстучных запонок, которые художнику так трудно облепить мясом.

Только позже, днем, попав в галерею на рю де Сэз и оказавшись среди мужчин и женщин Матисса, я снова обрел нормальный мир человеческих ценностей. На пороге огромного зала я замираю на миг – так ошеломляет торжествующий цвет подлинной жизни. Это торжество непременно выливается в песню или поэму и разрывает в клочья привычную

144

серость нашего мира. Мир Матисса настолько реален, настолько полон, что у меня перехватывает дыхание.

В каждой поэме, созданной Матиссом, – рассказ о теле, которое отказалось подчиниться неизбежности смерти. Во всем разбеге тел Матисса, от волос до ногтей, отображение чуда существования, точно какой-то потаенный глаз в поисках наивысшей реальности заменил все поры тела голодными зоркими ртами. Матисс – веселый мудрец, танцующий пророк, одним взмахом кисти сокрушающий позорный столб, к которому человеческое тело привязано своей изначальной греховностью. Матисс – художник, который знает – если вообще существует кто-либо, наделенный подобным магическим даром, – как разложить человеческую фигуру на составляющие; и у него достало смелости пожертвовать гармонией линий во имя биения пульса и тока крови; он не боится выплеснуть свет своей души на клавиатуру красок.

Мир все больше и больше напоминает сон энтомолога. Земля соскальзывает с орбиты, меняя ось; с севера сыплются снега иссиня-стальными заносами. Приходит новый ледниковый период, поперечные черепные швы застают, и вдоль всего плодородного пояса

145

умирает зародыш жизни, превращаясь в мертвую кость.

В самом центре разваливающегося колеса – Матисс. И он будет вращаться даже после того, как все, из чего это колесо было сделано, разлетится в прах.

Обои, которыми ученыe обклеили мир реальности, свисают лохмотьями. Огромный бордель, в который они превратили мир, не нуждается в декорации; все, что здесь требуется, – это хорошо действующий водопровод. Красоте, той кошачьей красоте, которая держала нас за яйца в Америке, пришел конец. Для того чтобы понять новую реальность, надо прежде всего разобрать канализационные трубы, вскрыть гангренозные каналы мочеполовой системы, по которой проходят испражнения искусства. Перманганат и формальдегид – ароматы сегодняшнего дня. Трубы забиты задушенными эмбрионами.

Мир Матисса с его старомодными спальнями все еще прекрасен. Я кожу среди этих созданий, чьи поры дышат и чей быт так же солиден и устойчив, как свет, и это бодрит меня. Я выхожу на бульвар Мадлен, где проститутки проходят мимо меня, шурша юбками, и острейшее ощущение жизни захватывает меня, потому что уже один их вид заставляет

146

меня волноваться. И дело вовсе не в том, что они экзотичны или хороши собой. Нет, на бульваре Мадлен трудно найти красивую женщину. Но у Матисса в магическом прикосновении его кисти сосредоточен мир, в котором одно лишь присутствие женщины моментально кристаллизует все самые потаенные желания. И встреча с женщиной, предлагающей себя возле уличной уборной, обклеенной рекламой папиросной бумаги, рома, выступлений акробатов и предстоящих скачек, встреча с ней там, где зелень деревьев разбивает тяжелую массу стен и крыш, впечатляет меня, как никогда, потому что это впечатление родилось там, где кончаются границы известного нам мира. В темных углах кафе, сплетя руки и истекая желанием, сидят мужчины и женщины; недалеко от них стоит гарсон в переднике с карманами, полными медяков; он терпеливо ждет перерыва, когда он наконец сможет наброситься на свою жену и терзать ее. Даже сейчас, когда мир разваливается, Париж Матисса продолжает жить в конвульсиях бесконечных оргазмов, его воздух наполнен застоявшейся спермой, и его деревья спутаны, как свалившиеся волосы. Колесо на вихляющейся оси неумолимо катится вниз; нет ни тормозов, ни подшипников, ни резиновых шин. Оно раз-

147

валивается у вас на глазах, но его вращение продолжается...

8

Я иногда спрашиваю себя, что так привлекает ко мне людей с вывихнутыми мозгами: неврастеников, невротиков, психопатов и в особенности евреев? Вероятно, в здоровом пееврее есть что-то такое, что возбуждает еврея, как вид кислого ржаного хлеба. Взять хотя бы Молдорфа, который, по словам Бориса и Кронштадта, сделал из себя Бога. Этот маленький гаденыш ненавидел меня жгучей ненавистью, но не мог без меня обойтись. Он периодически являлся за получением своей дозы оскорблений – они на него действовали как тонизирующее. Правда, вначале я был терпелив с ним – как-никак он платил мне за то, что я его слушал. И если я не проявлял особой симпатии, то по крайней мере умел слушать молча, когда пахло обедом и небольшой суммой на карманные расходы. Потом я понял, что он мазохист, и стал время от

времени открыто над ним смеяться; это действовало на него, точно удар хлыста, вызывая новый бурный прилив горя и отчаяния. Вероятно, все между нами обошлось бы мирно, если бы он

148

не взял на себя роль защитника Тани. Но Таня еврейка, и потому это было для него этическим вопросом. Он хотел, чтобы я оставался с мадемуазель Клод, к которой, должен признаться, я по-настоящему привязался. Он иногда давал мне деньги, чтоб я мог с ней спать. Но потом он понял, что я неисправимый развратник.

Я упомянул сейчас Таню, потому что она недавно вернулась из России – несколько дней назад. Она ездила одна, Сильвестр оставался в Париже, чтобы получить работу. Он окончательно бросил литературу и посвятил свою жизнь новой Утопии. Таня хотела, чтобы я поехал вместе с ней в Россию, лучше всего в Крым, и начал там новую жизнь. Мы устроили славную попойку у Карла, где и обсуждали эти планы. Меня интересовало, чем бы я мог там зарабатывать себе на жизнь – мог бы я, например, стать там корректором? Таня сказала, что об этом я не должен беспокоиться – работа непременно найдется, если Я буду серьезным и искренним. Я попытался сделать серьезное лицо, но получилось что-то трагическое. В России не нужны печальные лица, там хотят, чтобы все были бодры, полны энтузиазма, оптимизма и жизнерадостности. Для меня это звучало так, будто речь шла об Аме-

149

рике. Но от природы мне не дано такого энтузиазма. Конечно, я не сказал об этом Тане, но тайно я мечтал, чтобы меня оставили в покое в моем закутке, пока не начнется война. Вся эта затея с Россией слегка расстроила меня. Таня пришла в такой раж, что мы прикончили полдюжины бутылок дешевенького винца. Карл прыгал вокруг нас, как блоха. Он достаточно еврей, чтобы потерять голову при мысли о России. Карл требовал, чтобы мы с Таней немедленно поженились. "Сейчас же! – кричал он. – Вам нечего терять!" Он даже придумал предлог, чтобы куда-то уйти на время и дать нам возможность воспользоваться его кроватью. Таня тоже хотела этого, но Россия настолько заслонила для нее все остальное, что она растратила это время на разговор, отчего я стал нервным и раздражительным. Но, так или иначе, пора было поесть и идти на работу. Мы забрались в такси на бульваре Эдгара Кипе. Это был великолепный час для прогулки по Парижу в открытой машине, а вино, которое булькало в наших животах, делало ее еще приятнее. Для меня все это тоже было как сон: моя рука была под Таниной блузкой, и я сжимал ее грудь. Я видел под мостами воду и баржи, а вдали Нотр-Дам, точь-в-точь как на открытках, и думал о том,

150

что чуть не попался на удочку. Но даже пьяный я твердо знал, что никогда не променяю всю эту круговерть ни на Россию, ни на рай небесный или земной. Стоял чудесный день, и я думал о том, что скоро мы наедимся до отвала и закажем что-нибудь этакое, какое-нибудь хорошее крепкое вино, которое утопит в нас всю эту русскую чушь. С такими женщинами, как Таня, в полном соку, надо быть осторожным. Иначе они могут стащить с вас штаны прямо в такси.

Теперь, когда Таня снова в Париже, когда у меня есть работа, когда можно предаваться пьяным разговорам о России и еженощным прогулкам по летнему Парижу, жизнь приняла приятный оборот. Я встречался с Таней почти каждый день около пяти часов, чтобы выпить стаканчик "порто", как она называла портвейн. Я позволял ей таскать меня в неизвестные мне места – в шикарные бары вокруг Елисейских полей, где звуки джаза и стонущие детские голоса певцов исходили, казалось, прямо из стен, отделанных панелями красного дерева. Даже когда вы шли в туалет, эта сочная вязкая музыка следовала за вами, проникая через вентиляционные отверстия и превращая все в какой-то сон, сотворенный из разноцветных мыльных пузырей. Пока Таня

151

болтала о России, о будущем, о любви и т.д., я часто думал о самых неподходящих вещах – о том, как бы я чувствовал себя, если бы мне пришлось стать чистильщиком обуви или служителем в уборной. Наверное, потому, что всюду, куда меня таскала Таня, было так уютно и я не мог представить себе, что превращусь в трезвого и согбенного старца... нет, мне всегда казалось, что и в будущем, каким бы

.оно ни было, сохранится та атмосфера, в которую я погружен сейчас, – та же музыка, позывкание стаканов и аромат духов, исходящий от каждой соблазнительной попки и заглушающий обычный смрад жизни, даже тот, что внизу, в уборной.

Как ни странно, бесконечное хождение по шикарным барам вместе с Таней совершенно меня не испортило. Расставаться с ней было тяжело, это правда. Обычно я заводил ее в маленькую церковку недалеко от редакции, и там, стоя в темноте под лестницей, мы обнимались в последний раз. Она всегда шептала:

"Господи, что я теперь буду делать?" Таня хотела, чтобы я бросил работу и день и ночь занимался с ней любовью; она даже перестала говорить о России – ведь мы были вместе. Но стоило нам расстаться, как в голове у меня прояснялось. Совершенно другая музыка, не

152

такая дурманящая, но тоже приятная, встречала меня, как только я открывал дверь. И другие духи – не такие экзотические, но зато (слышные повсюду: смесь пота и пачулей, которой пахло от рабочих. Приходя под хмельком, как это чаще всего бывало, я чувствовал что теряю высоту. Обычно я направлялся прямо в уборную – это слегка освежало меня. Там было прохладнее, или, скорее, звук льющейся воды создавал эту иллюзию. Уборная заменяла мне холодный душ, возвращала к действительности. Чтобы попасть туда, надо было пройти мимо переодевавшихся рабочих-французов. Ну и вонь же шла от них, от этих козлов, несмотря на то, что их труд хорошо оплачивался. Они стояли здесь, бородатые, в длинных подштанниках –

нездоровье, истощенные люди со свинцом в крови. В уборной можно было познакомиться с плодами их раздумий – стены были покрыты рисунками и изречениями, по-детски похабными и примитивными, но в общем довольно веселыми и симпатичными. Чтобы добраться до некоторых из этих надписей, пришлось бы принести лестницу, но, пожалуй, это стоило бы сделать – даже из чисто психологических соображений. Иногда, пока я мочился, я думал о том, какое впечатление вся эта литература произвела бы на шикарных

153

дам, которых я видел входящими и выходящими из великолепных туалетов на Елисейских полях. Любопытно, так ли бы они задирали свои хвосты, если б знали, что о них здесь думают? Наверное, они живут в мире из бархата и газа. По крайней мере такое впечатление они создают, шурша мимо вас в облаках благоухания. Конечно, кое-кто из них не всегда был столь благороден, и, проплывая мимо вас, они попросту рекламируют свой товар. И, возможно, когда они остаются наедине с самими собой в своих будуарах, с их губ срываются очень странные слова, потому что их мир, да и всякий другой, состоит главным образом из грязи и погани, вонючей, как помойное ведро, – только им посчастливилось прикрыть его крышкой.

Как я уже говорил, мои ежедневные шатания по барам с Таней не оказывали на меня плохого действия. Когда случалось выпить лишнего, я засовывал два пальца в глотку: у корректора должна быть ясная голова – ведь для поисков пропущенной запятой нужна большая сосредоточенность, чем для рассуждений о философии Ницше. У пьяного воображение может разыграться самым блестящим образом, но в корректуре блеска не требуется. Даты, дроби и точки с занятыми –

154

вот что важно. Но они-то и ускользают от вас, когда голова не варит. Время от времени я пропускал серьезные ошибки, и если бы я не научился с самого начала лизать жопу главному корректору, меня бы давно уже выгнали. Я начал разыгрывать из себя полного кретина, что здесь очень ценилось. Иногда я подходил к старшему корректору и, чтобы польстить ему, спрашивал значение того или другого слова. Мое единственное несчастье состояло в том, что я знал слишком много. Это вылезало наружу, несмотря на все мои старания. Если я приходил на работу с книгой под мышкой, он немедленно замечал это и, если книга была хорошая, становился язвительным. Я никогда не хотел сознательно его поддеть; я слишком дорожил своей работой, чтоб добровольно набрасывать себе петлю на шею. Тем не менее очень трудно разговаривать с человеком, с которым у вас нет ничего общего, и не выдать себя, даже если вы ограничиваетесь односложными словами.

В результате я обзавелся небольшим неврозом. Стоило мне глотнуть свежего воздуха, я словно с цепи срывался, причем тема разговора не имела ни малейшего значения. Когда мы рано утром начинали путь на Монпарнас, я немедленно направлял на нее пожарный

155

шланг своего красноречия, и скоро от этой темы оставалось одно воспоминание. Особенно я любил говорить о вещах, о которых никто из нас не имел ни малейшего представления. Я развел в себе легкую форму сумасшествия – кажется, она называется "эхолалия". Я готов был говорить обо всем, о чем шла речь в последней верстке. И вот что смешно: я могу исколесить в воображении весь мир, но мысль об Америке не приходит мне в голову. Она для меня дальше, чем потерянные континенты, потому что сними у меня есть какая-то таинственная связь, но по отношению к Америке я не чувствую ничего. Правда, порой я вспоминаю Мону, но не как личность в определенном разрезе времени и пространства, а как что-то отвлеченнное, самостоятельное, как если бы она стала огромным облаком из совершенно забытого прошлого. Я не могу себе позволить долго думать о ней, иначе мне останется только прыгнуть с моста. Странно. Ведь я совершенно примирился с мыслью, что проживу свою жизнь без Моны, но даже мимолетное воспоминание о ней пронзает меня до мозга костей, отбрасывая назад в ужасную грязную канаву моего безобразного прошлого.

Вот уже семь лет день и ночь я хожу с одной только мыслью – о ней. Если бы христи-

156

анин был так же верен своему Богу, как я верен ей, мы все были бы Иисусами. Днем и ночью я думал только о ней, даже когда изменял. Мне казалось, что я наконец освободился от нее, но это не так; иногда, свернув за угол, я внезапно узнаю маленький садик – несколько деревьев и скамеек, – где мы когда-то стояли и ссорились, доводя друг друга до исступления дикими сценами ревности. И всегда это происходило в пустынном, заброшенном месте – на площади Эстрапад или на занюханных и никому не известных улочках возле мечети или авеню Бретей, зияющей, как открытая могила, где так темно и безлюдно уже в десять часов вечера, что у вас является мысль о самоубийстве или убийстве, о чем-то, что могло бы влить хоть каплю жизни в эту мертвую тишину. Когда я думаю о том, что она ушла, ушла, вероятно, навсегда, передо мной разверзается пропасть и я падаю, падаю без конца в бездонное черное пространство. Это хуже, чем слезы, глубже, чем сожаление и боль горя; это та пропасть, в которую был низвергнут Сатана. Оттуда нет надежды выбраться, там нет ни луча света, ни звука человеческого голоса, ни прикосновения человеческой руки.

Бродя по ночным улицам, тысячи раз я задавал себе вопрос, наступит ли когда-нибудь

157

время, когда она будет опять рядом со мной; все эти голодные, отчаянные взгляды, которые я бросал на дома и скульптуры, стали теперь невидимой частью этих скульптур и домов, впитавших мою тоску. Я не могу забыть, как мы бродили вдвоем по этим жалким, бедным улочкам, вобравшим мои мечты и мое вожделение, а она не замечала и не чувствовала ничего: для нее это были обыкновенные улочки, может быть, более грязные, чем в других городах, но ничем не примечательные. Она не помнила, что на том углу я

наклонился, чтобы поднять оброненную ею шпильку, а на этом – чтобы завязать шнурки на ее туфлях. А я навсегда запомнил место, где стояла ее нога. И это место сохранится даже тогда, когда все эти соборы превратятся в развалины, а европейская цивилизация навсегда исчезнет с лица Земли.

Однажды ночью, когда в припадке особенно болезненной тоски и одиночества я шел по улице Ломон, некоторые веши открылись мне с необычайной ясностью. Было ли это потому, что я вспомнил фразу, сказанную Моной, когда мы стояли на площади Люсъена Эрра, – не знаю. "Почему ты не покажешь мне *тебя* Париж, – сказала она, – Париж, о котором ты всегда пишешь?" И тут я внезапно ясно понял,

158

что не смог бы никогда раскрыть перед нею тот Париж, который я изучил так хорошо, Париж, в котором нет арондисманов, Париж, который никогда не существовал вне моего одиночества и моей голодной тоски по ней. Такой огромный Париж! Целой жизни не хватило бы, чтобы обойти его снова. Этот Париж, ключ к которому – только у меня, не годится для экскурсий даже с самыми лучшими намерениями;

это Париж, который надо прожить и прочувствовать, каждый день проходя через тысячи утонченных страданий. Париж, который растет внутри вас, как рак, и будет расти, пока не сожрет вас совсем.

С этими мыслями, шевелящимися в моей голове, точно черви, я шел по улице Муфтар и внезапно припомнил один эпизод из моего прошлого, из того путеводителя, страницы которого Мона просила меня открыть. Но переплет его был так тяжел, что у меня не хватило сил это сделать. Ни с того ни с сего – ибо мои мысли были заняты Салавеном, через священные кущи которого я тогда проходил, – итак, ни с того ни с сего мне вдруг вспомнилось, как однажды я заинтересовался мемориальной доской на пансионе "Орфил", которую видел чуть ли не ежедневно, и, поддавшись внезапному импульсу, зашел туда и попросил пока-

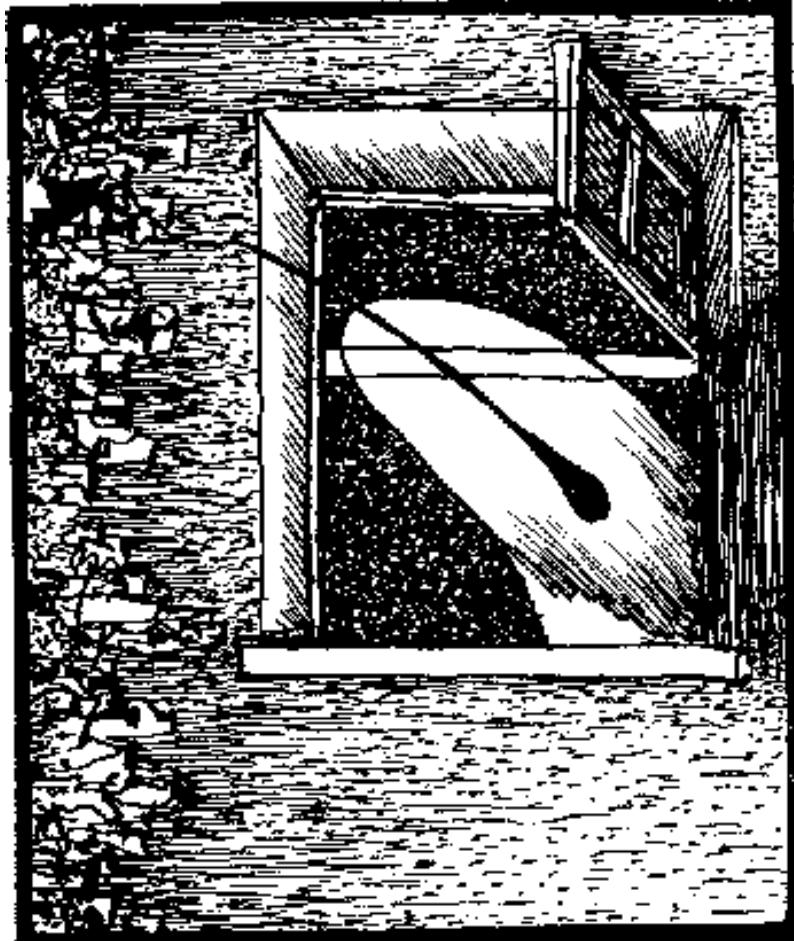
159

зать мне комнату, где жил Стриндберг. В то время еще ничего ужасного со мной не случилось, хотя я уже знал, что значит быть бездомным и голодным и что значит бегать от полиции.

Мне кажется, сейчас я понимаю лучше, почему Мона получила от Стриндберга такое огромное удовольствие. Помню, как она смеялась до слез после какого-нибудь восхитительного пассажа, а потом говорила: "*Ты*, такой же ненормальный, как он... ты хочешь, чтобы тебя мучили!"

Какое это, должно быть, удовольствие для садистки – обнаружить рядом мазохиста и перестать кусать себя, убеждаясь в остроте собственных зубов. В те дни, когда мы только познакомились, воображение Моны было занято Стриндбергом. Этот сумасшедший карнавал, на котором он веселился, эта постоянная борьба полов, эта паучья свирепость, которая сделала его любимым писателем отупелых северных недотеп, – все это свело нас с Моной. Мы начали вместе пляску смерти. и меня затянуло в водоворот с такой быстротой, что когда я наконец вынырнул на поверхность, то не мог уже узнать мир. Когда я освободился, музыки уже не было, карнавал кончился и я был ободран до костей...

160



Вечный город, Париж! Более вечный, чем Рим, более великолепный, чем Ниневия. Пуп земли, к которому приползаешь на карачках, как слепой, слабоумный идиот. И как пробка, занесенная течениями в самый центр океана, болтаешься здесь среди грязи и отбросов, беспомощный, инертный, безразличный ко всему, даже к проплывающему мимо Колумбу. Колыбель цивилизации – гниющая выгребная яма мира, склеп, в который вонючие матки сливают окровавленные свертки мяса и костей.

Улицы Парижа были моим убежищем. Никто не может понять очарования улиц, если ему не приходилось искать в них убежища, если он не был беспомощной соломинкой, которую гонял по ним каждый ветерок. Вы идете по улице зимним днем и, увидев собаку, выставленную на продажу, умиляетесь до слез. В то же время на другой стороне улицы вы видите жалкую лачугу, напоминающую могилу, а над ней надпись: "Отель "Заячье кладбище"". Это заставляет вас смеяться тоже до слез. Вы замечаете, что повсюду кладбища для всех – для зайцев, собак, вшей, императоров, министров, маклеров, конокрадов. И почти на каждой улице "Отель де л'Авенир" – "гостиница будущего", – что приводит вас в еще более веселое настроение. Столько гос-

162

тиниц для будущего! И ни одной для прошлого, позапрошлого, давнoproшедшего. Все заплесневело, загажено, но топорщится весельем и раздуть будущим, точно флюс. Пьяный от этой скабрезной экземы будущего, я иду, спотыкаясь, через площадь Вьоле. Все кругом розовато-лиловое и бледно-серое, а подъезды в домах настолько низки, что лишь карлики и домовые могут пройти в них, не нагибаясь; над скучным черепом Золя трубы извергают белый дым, а мадонна сандвичей слушает своими капустными ушами ворчание в газовых цистернах – в этих прекрасных раздувшихся жабах, сидящих возле дороги.

Такая жестокость заложена в этих улицах;

это *она* смотрит со стен и приводит в ужас, когда вы внезапно поддаетесь инстинктивному страху, когда вашу душу охватывает слепая паника. Это *она* придает фонарям их причудливую форму, чтобы удобнее было прилеплять к ним петлю; это *она* делает некоторые дома похожими на стражей, хранящих тайну преступления, а их слепые окна – на пустые впадины глаз, видевших слишком много. Это *она* написана на человеческих физиономиях улиц, от которых я бегу сломя голову, когда вдруг вижу над собой табличку с названием:

"Тупик Сатаны". И это *она* заставляет меня

163

содрогаться, когда я прохожу мимо надписи у самого входа в мечеть: "*Туберкулез – по понедельникам и четвергам. Сифилис – по средам и пятницам*". На каждой станции метро оскалившимся черепа предупреждают: "Берегись сифилиса". С каждой стены на вас смотрят плакаты с яркими ядовитыми крабами – напоминание о приближающемся раке. Куда бы вы ни пошли, чего бы вы ни коснулись, везде – рак и сифилис. Это написано в небе;

это горит и танцует там как предвестие ужасов. Это въелось в наши души, и потому мы сейчас мертвые, как луна.

9

Четвертого июля из-под моей задницы опять вытащили стул. Без всякого предупреждения. Какой-то большой воротила на другом берегу океана решил наводить экономию; за счет выгнанных корректоров и беспомощных машинисток он сможет проехаться в Европу и обратно, а также снять шикарный номер в отеле "Риц". После того как я заплатил мелкие долги линотипистам и небольшую сумму в бистро через дорогу (для поддержания кредита), от моего жалования почти ничего не осталось. Пришлось сказать хозяину гостиницы, что я

164

съезжаю. Причину я не объяснил, чтобы он не беспокоился о своих жалких двухстах франках.

"Что ты будешь делать, если потеряешь работу?" Эта фраза постоянно звучала у меня в ушах – И вот это "если" превратилось в действительность. Я был конченый человек. Мне ничего не оставалось делать, как идти опять на улицу, слоняться взад и вперед, сидеть на скамейках, убивая время. На Монпарнасе к моему лицу уже привыкли, и какое-то время я мог делать вид, что все еще работают в газете. Это помогало тут и там перехватить завтрак и обед "на мелок". Стояло лето, в городе было полно туристов, и я знал, как можно выжать из них деньги. "Что ты будешь делать?.." Во всяком случае я не буду голодать. Неделю-другую я смогу по-прежнему обедать у "Мсье Поля"; он не будет знать, работаю я или нет. Главное – это есть каждый день. Об остальном позаботится Провидение.

Теперь, когда я потерял работу, Карл и ван Норден придумали новый вопрос: "Что ты будешь делать, если к тебе сейчас приедет жена?" Ну что ж – просто будет два рта вместо одного. У меня появится товарищ по несчастью. И если она не потеряла еще привлекательности, мне будет, должно быть, даже лег-

165

че вдвоем с ней, чем одному, – мир редко позволяет красивой женщине голодать. На Таню я не мог сейчас особенно рассчитывать – она посыпала деньги Сильвестру. Я думал, что она позволит мне переехать к ней, но она боялась себя скомпрометировать и, кроме того, не хотела портить отношения с шефом.

Потом я подружился с фотографом; он снимал самые злочные места Парижа для какого-то мюнхенского дегенерата. Фотограф предложил мне позировать для него без штанов и в разных других видах. Я вспомнил тех мозгляков, похожих на гостиничных посыльных, которых иногда можно увидеть на порнографических открытках в окнах книжных магазинчиков, – таинственные призраки, обитающие на улице Люн и в других

вонючих кварталах Парижа. Мне не особенно хотелось попасть в такую изысканную компанию. Однако, когда фотограф объяснил мне, что все открытки предназначаются для частной коллекции и что заказчик живет в Мюнхене, я согласился. За границей можно позволить себе некоторые вольности, в особенности ради хлеба насущного – причина в высшей степени уважительная. В конце концов, как я вспоминаю сейчас, я и в Нью-Йорке был не слишком

166

разборчив. Иногда мне по вечерам случалось даже просить подаяние на собственной улице.

С фотографом мы не ходили по обычным туристским маршрутам, а выбирали более подходящие маленькие заведения, где до начала работы можно было сыграть в карты. Он был приятный парень, этот мой фотограф. Париж он знал вдоль и поперек, особенно его центральную часть; он говорил со мной о Гете, о Гогешптауфенах и об избиении евреев во времена Черной смерти. Это все были интересные предметы, к тому же они всегда каким-то образом оказывались связаны с тем, что он делал.

Через фотографа я познакомился с Крюгером, человеком спиритуалистического склада. Он был скульптором и художником. Крюгер почему-то очень ко мне привязался; когда же он понял, что я готов слушать его "эзотерические" рассуждения, от него стало просто невозможно отделаться. В этом мире есть люди, для которых слово "эзотерический" подобно божественному откровению. Как "кончено" для герра Пеперкорна в "Волшебной горе". Крюгер был одним из тех святых, что сбились с пути, мазохистом, анальным типом, для которого главное – щепетильность,держанность и совестливость, но в выходной день он

167

может любому вышибить зубы, причем без малейших колебаний. Крюгер решил, что я созрел для перехода на другой уровень существования, "более высокий уровень", как он говорил. Я был готов перейти на любой уровень по его выбору, поскольку это не отражалось на моем потреблении съестного и спиртного. Он забивал мою голову массой сведений об "astralных телах", "каузальном теле", "переселении душ", упанишадах, Плотине, Кришнамурти, "кармической оболочке души", "сознании нирваны" – обо всей этой ерундистике, которая залетает к нам с Востока, словно дыхание чумы. Иногда он впадал в транс и говорил о своих предыдущих воплощениях, как он их себе представлял.

Со временем, завоевав доверие Крюгера, я проник в его сердце. Я довел его до такого состояния, что он ловил меня на улице и спрашивал, не разрешу ли я ему ссудить мне несколько франков. Ему хотелось, чтобы моя душа не расставалась с телом до перехода на более высокий уровень. Я был словно груша, зреющая на дереве. Иногда у меня случались рецидивы, и я признавался, что мне действительно нужны деньги для удовлетворения более земных потребностей, как, например, для визита в "Сфинкс" или на улицу Святой Апол-

168

лины, куда и он иногда захаживал, когда его плоть оказывалась сильнее духа.

Был и еще один художник, к которому я часто заходил. Его ателье помещалось позади "Баль Бюльлье". Художника звали Марк Свифт, и хотя этот едкий ирландец не был гением, он был зато настоящим эксцентриком. Его натурщица – еврейка, с которой он жил многие годы, – ему надоела, и он искал предлога, чтобы с ней расстаться. Но поскольку в свое время он промотал приданое натурщицы, то не знал, как ее спровадить, не возвращая денег. Проще всего было сделать ее жизнь невыносимой, чтоб она скорее согласилась голодать, чем переносить его жестокость.

Она была довольно славная женщина. Единственное, что можно было сказать о ней плохого, так это то, что она расплзлась в талии и потеряла возможность содержать своего любовника. Она тоже была художницей, и, по словам тех, что считал себя знатоком в этом деле, более талантливой, чем он. Но как бы Свифт ни портил ей жизнь, она оставалась ему верна и никому не позволила бы усомниться в том, что он великий художник. Его отвратительный характер она объясняла гениальностью. В их ателье на стенах никогда не висели ее картины – только его. Ее работы

169

были свалены в кухне. Однажды – это было при мне – кто-то настоял на том, чтобы она показала их. Результат был самый неприятный. "Видите эту фигуру? – сказал Свифт, тыча ножищей в одно из полотен. – Человек, стоящий в дверях, собирается выйти во двор помочиться. Он никогда не найдет дорогу назад, потому что его голова приделана к телу совершенно по-идиотски... Теперь посмотрите на эту обнаженную фигуру... Все шло хорошо, пока она не принялась за п...у. Я не знаю, о чем она думала, но п... получилась такой огромной, что кисть провалилась в нее, и вытащить ее оттуда уже невозможно..."

Чтобы показать всем присутствующим, как надо изображать обнаженное тело, Свифт достал огромный холст, который только что закончил. Это было написано с *neе* – замечательный образец мести, вдохновленной нечистой совестью. Работа маньяка – пропитанная ядом, ненавистью, желчью, мелочным презрением, но выполненная блестяще. Создавалось впечатление, что художник подсматривал за своей моделью в замочную скважину, подлавливая ее в самые некрасивые моменты – когда она ковыряла в носу или чесала задницу. На картине она сидела на волосяном диване в огромной комнате без всякой

170

вентиляции и без единого окна; эта комната с тем же успехом могла сойти за переднюю долю шишковидной железы. В глубине вела на галерею зигзагообразная лестница, покрытая ковровой дорожкой ядовито-зеленого цвета;

эта зелень могла явиться только из мира, находящегося при последнем вздохании. Но прежде всего бросались в глаза ягодицы женщины, скособоченные и покрытые струпьями. Они не касались дивана –

женщина чуть приподнялась, как видно, для того, чтобы громко пернуть. Лицо модели Свифт идеализировал, это было невинное кукольное лицо с конфетной коробки. Но ее груди были раздуты, точно их наполняли миазмы канализационных труб, и вся она, казалось, плавала в менструальном море – огромный эмбрион с тупым мармеладным взглядом ангела.

И все-таки Свифта любили. Он был неутомим в работе и, кроме живописи, действительно ни о чем не думал. Это, правда, не мешало ему быть хитрым, как хорек. Именно он посоветовал мне подружиться с Филмором, молодым человеком из дипломатического корпуса, каким-то образом попавшим в число знакомых Крюгера и Свифта. "Филмор может вам помочь, – сказал Свифт. – Он не знает, что ему делать со своими деньгами".

171

Филмор знал, что дни его пребывания во Франции сочтены, и твердо решил выжать из своей заграничной жизни все возможное. А так как вдвоем делать это веселей, чем одному, нет ничего удивительного, что Филмор ухватился за такого человека, как я, – ведь у меня было сколько угодно свободного времени. Он любил танцы, хорошее вино и женщин.

Нас сблизил довольно неприятный инцидент, который произошел во время моего короткого проживания у Крюгера. Это случилось вскоре после появления Коллинза – матроса, с которым Филмор подружился, когда плыл из Америки. Пока Коллинз оставался в Париже, я жил как герцог: дичь, вина лучших марок, сладкие блюда, о которых я раньше даже не слышал. Еще месяц такого питания, и мне пришлось бы лечиться в Баден-Бадене, Виши или Экс-ле-Бене. Между тем я жил в ателье Крюгера. И это становилось для него все обременительнее – я редко приходил домой раньше трех часов ночи, и меня было трудно вытащить из постели до полудня. Крюгер никогда не делал мне замечаний, но его отношение ко мне ясно показывало, что, по его мнению, я превращаюсь в пропойцу.

172

И вдруг я заболел. Изысканные яства оказались не по мне. Я не понимал, что со мной происходит, но не мог подняться с постели. Я был совершенно без сил, а вместе с силами пропала и бодрость духа. Крюгеру приходилось ухаживать за мной, варить мне бульоны и все такое прочее. Это тяготило его, особенно потому, что он собирался устроить в своем ателье выставку для каких-то богатых меценатов, на которых он возлагал большие надежды. Моя постель стояла здесь же, в ателье, – другого места для нее не было.

Утром, в тот день, когда должны были явиться его возможные благодетели, Крюгер проснулся в самом отвратительном настроении. Если бы я мог стоять на ногах, он, наверное, просто дал бы мне по морде и выкинул вон. Но я лежал пластом. Я прекрасно осознавал, что мое пребывание здесь было для него катастрофой. Какой интерес могут вызвать картины и скульптуры, когда тут же, на ваших глазах умирает человек! А Крюгер был уверен, что я умираю, да и я придерживался того же мнения. Если я умираю, то хорошо бы умереть прямо здесь, в уютном ателье, а не искать другого места. По правде говоря, мне было все равно, где я умру, лишь бы не вылезать из постели.

173

Услышав мои рассуждения, Крюгер встревожился. И больной-то в ателье портил ему картину, а уж покойник – и подавно.

В конце концов Крюгер до того разозлился, что, несмотря на мои протесты, стал меня одевать. У меня не было сил сопротивляться. Я только тихо шипел: "Ну и сволочь же ты..." Несмотря на то, что день был теплый, я дрожал как собака. Крюгер одел меня и, накинув мне на плечи пальто, побежал звонить. "Я никуда отсюда не уйду... никуда... никуда..." – повторял я, но он захлопнул дверь прямо перед моим носом. Вскоре он вернулся и, не говоря ни слова, стал приводить ателье в порядок. Последние приготовления. Через несколько минут в дверь постучали. Это был Филмор. Он объявил мне, что внизу нас ждет Коллинз.

Филмор и Крюгер вдвоем взяли меня под мышки и поставили на ноги. Когда они волокли меня на лестницу к лифту, Крюгер разнюнился.

– Это для твоей же пользы, – говорил он. – Кроме того, пойми мое положение... Я бился все эти годы как рыба об лед... Ты должен подумать обо мне...

В глазах его стояли слезы.

174

Я чувствовал себя на редкость гнусно, но при этих словах почти улыбнулся. Крюгер был значительно старше меня. Как художник он ничего не стоил – но все же он заслужил этот, вероятно, единственный в своей бездарной жизни шанс выбиться в люди.

– Я не сержусь, – пролепетал я. – Я все понимаю...

– Ты всегда был мне симпатичен... – бубнил он. – Когда ты выздоровеешь, можешь вернуться обратно и жить здесь сколько хочешь...

– Да, я знаю... Я еще не собираюсь отдавать концы... – прошептал я с трудом.

Когда я увидел внизу Коллинза, произошло чудо, и я слегка воспрянул духом. Трудно было себе представить человека более живого, здорового, веселого и щедрого, чем он. Коллинз поднял меня на руки, точно куклу, и уложил на заднее сиденье такси – очень осторожно, что было особенно приятно после бесцеремонного обращения Крюгера.

Мы приехали в гостиницу, где остановился Коллинз, и, пока я лежал на диване в холле, Филмор и Коллинз вели долгие переговоры с хозяином. Я слышал, как Коллинз объяснял, что у меня нет ничего серьезного, так, легкая слабость, и что через пару дней я буду на полном ходу. Потом он сунул в руку хозяину хру-

175

стящую асигнацию и, быстро повернувшись, подошел ко мне: "Эй, держи хвост пистолетом! Пусть не думает, что ты загибаешься". С этими словами он рывком поднял меня и, обхватив рукой за пояс, повел к лифту.

"Пусть не думает, что ты загибаешься!" Ясно, что умирать среди чужих людей – дурной тон. Человек должен умирать, окруженный семьей и в частном порядке, так сказать. Слова Коллинза подбодрили меня. Всё происходящее стало напоминать мне глупую шутку. Наверху, закрыв дверь, Филмор и Коллинз раздели меня и уложили в постель. "Теперь ты, черт возьми, уже не можешь умереть!" – тепло сказал Коллинз. – Ты поставил меня в ужасное положение... И что с тобой вообще, черт побери? Не привык к хорошей жизни? Выше голову! Через пару дней будешь уписывать замечательный бифштекс! Ты думаешь, что ты болен? Хаха, подожди, пока подцепишь сифилис! Вот тогда тебе придется действительно призадуматься". И тут он с юмором стал рассказывать о своем путешествии по реке Янцзы, о том, как у него выпадали волосы и гнили зубы. Я совсем ослаб, по поневоле увлекся его рассказом, и мне стало легче. О себе я уже забыл. У Коллинза были стальные нервы и бесконечная жизнерадость.

176

Вероятно, он привирал, но он ведь делал это ради меня, и я не собирался уличать его во лжи. Я смотрел во все глаза и слушал во все уши.

Несколько недель спустя, получив настойчивое приглашение от Коллинза, который только что вернулся из Гавра, мы с Филмором сели на утренний поезд, решив провести выходные с нашим другом. Впервые я покидал Париж. Мы были в чудесном настроении и всю дорогу пили анжуйское. Коллинз дал нам адрес бара Джимми, где мы должны были с ним встретиться – его, по словам Коллинза, знает в Гавре каждая собака.

На вокзале мы влезли в открытый экипаж и отправились к месту встречи бодрой рысцой.

Не дойдя до бара, мы увидели Коллинза, бегущего по улице – очевидно, на вокзал, но, как всегда, с опозданием. Филмор немедленно предлагает выпить по рюмочке перво; мы хлопаем друг друга по спине, хохочем и фыркаем, уже пьяные от солнца и солнечного морского воздуха. Сначала Коллинз в нерешительности – стоит ли ему пить перво. Он сообщает нам, что у него легкий триппер; нет, ничего серьезного, скорее всего это наследственное. Он вынимает и показывает мне бутылочку с ле-

177

карством, насколько я помню, оно называлось венесьен – матросское средство от триппера.

Перед тем как отправиться к Джимми, мы решаем перекусить и заходим в приморский ресторан. Собственно, это не ресторан, а огромная таверна с прокопченными потолочными балками и столами, гнувшимися под тяжестью снеди. Устроившись, мы с удовольствием пьем вина, которые рекомендует нам Коллинз, а потом выходим на террасу пить кофе с ликерами. Коллинз говорит все время о бароне де Шарлю, который ему очень нравится. Почти месяц Коллинз жил в Гавре, спуская деньги, заработанные на контрабанде. Его вкусы очень просты – еда, вино, женщины и книги. И ванная в номере! Это обязательно.

Продолжая болтать о бароне де Шарлю, мы добираемся до "Бара Джимми". Уже темнеет, и заведение постепенно наполняется публикой. Конечно, тут и сам Джимми с красной как свекла физиономией, и его супруга, красивая, пышущая здоровьем француженка со сверкающими глазами. Нас встречают как родных. Опять появляется бутылка перво, граммофон орет, точно иерихонская труба, публика галдит по-французски, по-английски, по-голландски, по-норвежски и по-испански, а Джимми и его жена – оба в перевос-

178

ходном настроении – обнимаются и целуются, тут же чокаясь. В баре стоит гам неудержимого веселья, и хочется сорвать с себя одежду и пуститься в дикий пляс. Женщины у стоек бара собираются вокруг нас, словно мухи. Раз мы друзья Коллинза, значит, мы богаты. Не важно, что на нас старые костюмы – "англичане" всегда так одеваются. В кармане у меня – ни сантима, что, конечно, сейчас не имеет никакого значения, потому что я здесь почетный гость. Тем не менее я чувствую себя неловко, когда две сногсшибательные девки берут меня в оборот и ждут, чтобы я что-нибудь для них заказал. В конце концов я решил, что пора действовать. К этому времени уже трудно было разобрать, кто и за что платил. Я должен разыгрывать из себя "джентльмена", даже без гроша в кармане.

Иветт – так звали жену Джимми – встретила нас с исключительным радушием и сейчас готовила нам специальный ужин. Она предупредила, что это займет некоторое время, и просила не пить слишком много – иначе мы не сможем оценить ее кухню. Граммофон продолжал греметь, и Филмор, подхватив красивую мулатку в плотно облегающем бархатном платье, пустился в пляс. Коллинз подсел поближе и шепнул, показывая глазами на жен-

179

щину, сидящую рядом со мной: "Если она тебе нравится, мадам пригласит ее на ужин". По его словам, эта женщина – бывшая проститутка, у нее шикарный дом в предместье Гавра. Сейчас она замужем за морским офицером, который недавно ушел в плаванье. Так что бояться нечего. "Если ты ей тоже понравишься, она пригласит тебя остановиться у нее", – добавляет Коллинз.

Этого мне более чем достаточно. Немедленно повернувшись к Марсель, я начинаю осипать ее комплиментами. Мы идем к бару и стоим там, точно танцуя на одном месте, но на самом деле щупаем друг друга без зазрения совести. Джимми подмигивает мне и одобрительно кивает головой. Эта Марсель великолепна. Вторая девица исчезла почти немедленно – очевидно, по знаку Марсель. Мы садимся и начинаем длинный и чрезвычайно интимный разговор, который, к сожалению, прерывается приглашением к столу.

Нас было около двадцати человек за столом. Меня и Марсель усадили на одном конце, напротив сели Джимми и его жена. Захлопали пробки, и вскоре начались длинные пьяные застольные речи, во время которых мы с Марсель обследуем друг друга под столом. Когда настала моя очередь встать и предложить

180

тост, пришлось держать перед собой салфетку. Это было и сладко и больно одновременно. Но мой тост был весьма краток, потому что, пока я стоял. Марсель щекотала мне промежность.

Обед затянулся почти до полуночи. Я с удовольствием думал, как я проведу ночь с Марсель в ее великолепном особняке на горе, но вышло, увы, иначе. Коллинз повел нас на ночную прогулку по городу, и я не мог отказаться, не обидев его. "Не беспокойся насчет этой красотки, – сказал он. – Она еще успеет тебе надоест до смерти. Пусть подождет здесь, пока мы вернемся".

Сначала Марсель обиделась, но когда узнала, что мы пробудем в Гавре еще несколько дней, успокоилась. На улице Филмор с серьезным видом взял нас под руки и сказал, что хочет сообщить нечто важное.

– В чем дело, старина? – жизнерадостно спросил Коллинз. – Выкладывай!

Но Филмор почему-то не может ничего выложить. Он мнется, заикается и наконец выпаливает:

– Когда я был в уборной, я заметил что-то неладное.

– Значит, ты подхватил! – торжествующе кричит Коллинз и вытаскивает свою бутылоч-

181

ку венесеана. – Послушай меня, не ходи по врачам, – продолжает он уже ядовито. – Эти сволочи снимут с тебя штаны и будут тянуть деньги десять лет. И не переставай пить. Это все чепуха. Принимай-ка эту штуку два раза в день... перед употреблением взбалтывать. И самое главное – не вешай нос на квинту! Понял? Пошли. Когда мы вернемся, я дам тебе спринцовку и перманганат.

Мы отправляемся к порту, откуда слышны музыка, крики и пьяная ругань. Всю дорогу Коллинз развлекает нас рассказами то про мальчика, в которого он влюбился, то про скандал, который устроили родители мальчика, когда узнали об их отношениях, то опять вспоминает о бароне де Шарлю, то о Курце, который поплыл вверх по реке и не вернулся. Это его любимая тема. Даже когда мы ввалились в публичный дом на набережной Вольтера и Коллинз заказал девочек и выпивку, а потом развалился на диване, он все еще продолжал грести вверх по реке с Курцем и прекратил свои рассуждения только тогда, когда женщины заткнули ему рот поцелуями. Тут, словно вдруг сообразив, где он находится, Коллинз обратился к почтенной хозяйке и произнес торжественную речь о своих двух приятелях, которые специально приехали из

182

Парижа, чтобы навестить ее знаменитое заведение. В комнате было с полдюжины девочек, совершенно голых и, должен признаться, очень красивых. Они порхали вокруг нас, как птички, пока мы старались поддержать чинный разговор с хозяйкой. Наконец она извинилась и ушла, сказав, чтобы мы чувствовали себя как дома. Я был очарован ее любезностью, благожелательностью и ее теплым, прямо-таки материнским отношением к своим девочкам. А какие манеры! Будь она помоложе, я попробовал бы подъехать к ней. В этом доме совершенно невозможно было себе представить, что ты находишься в "вертепе", как принято называть подобные места.

Мы пробыли там около часа, и из нас троих только я воспользовался услугами заведения. Филмор и Коллинз оставались внизу и болтали с девицами. Когда я вернулся, оба лежали растянувшись на диване, а девочки выстроились полукругом и пели ангельскими голосами хор из "Роз Пикардии". Ушли мы, полные сентиментальных чувств, в особенности Филмор. Но Коллинз тут же повел нас в настоящий портовый притон, где мы и просидели некоторое время, с интересом наблюдая за пьяными матросами и пиршеством педерастов, которое к нашему приходу было ухе в

183

полном разгаре. Покинув и этот притон, мы прошли через квартал публичных домов с красными фонарями и с чинными старушками в шалях. Они сидели на ступеньках, обмахиваясь веерами, и приветливо кивали головами всем прохожим – в этих приветствиях было столько достоинства и скромности, точно вас приглашали зайти в детские приюты. Тут и там группы матросов со смехом исчезали в дверях. Сексуальная горячка, казалось, подмывала все устои города, как набежавший прилив. Пристань, где мы остановились облегчиться, походила на свалку; корабли, траулеры, яхты, шхуны и баржи, точно выброшенные на берег грозной бурей, громоздились у берега.

Эти двое суток в Гавре были так насыщены событиями, что казалось, мы здесь уже целый месяц, а то и больше. Мы собирались уехать в понедельник рано утром, так как Филмору нужно было идти на службу. Все воскресенье мы пили и куролесили, не думая о триппере или о чем-нибудь подобном. Коллинз сказал, что собирается вернуться на свою ферму в Айдахо; он не был дома восемь лет и хотел увидеть родные горы, прежде чем отправиться в новое плавание на Восток. Разговор шел в борделе, где Коллинз ждал женщину, кото-

184

рой он обещал кокаин. Он говорил, что ему надоел Гавр – здесь слишком много хищников, висящих у него на шее. Кроме того, жена Джимми влюблена в него и закатывает сцены ревности. Она делала это почти каждую ночь. Правда, после нашего приезда она вела себя прилично, но Коллинз знал, что это ненадолго. Особенно она ревновала его к одной русской девочке, которая, напившись, иногда заходила в бар. Эта Иветт – настоящая ведьма, жаловался Коллинз. Ко всему прочему, он был безумно влюблен в мальчика, о котором уже рассказывал нам раньше. "Мальчик может вывернуть тебе душу, – говорил Коллинз. – А этот еще и

настоящий красавец, черт его побери. Но такой жестокий!" Мы смеялись – до того нелепо это звучало. Но Коллинз был совершенно серьезен.

В воскресенье около полуночи мы с Филмором отправились спать в отведенную нам комнату над баром Джимми. Стояла невероятная духота – ни малейшего дуновения. Через открытые окна мы слышали обрывки разговоров, крики и вой граммофона, не умолкавшего ни на минуту. Неожиданно разразилась гроза. И между ударами грома и порывами ветра, сотрясавшими весь дом, мы услышали звуки другой грозы, разразившейся в баре. Эта гроза

185

бушевала совсем близко, под нами: истерический женский визг, звон бьющихся бутылок, грохот переворачиваемых столов, тупые и страшные удары человеческих тел о стены и об пол.

Около шести утра Коллинз просунул голову к нам в комнату. Его физиономия была заклеена пластырем, одна рука на перевязи. Но на лице его сияла улыбка.

– Все, как я и предсказывал, – объявил он. – Иветт совсем спятила. Наверное, вы слышали шум?

Мы быстро оделись и сошли вниз проститься с Джимми. Разгром был полный – бутылки перебиты, столы и стулья сломаны, окна и зеркала разбиты. Джимми готовил себе гоголь-моголь.

По пути на вокзал мы узнали от Коллинза подробности. Русская девушка пришла в бар сразу после нашего ухода, и Иветт немедленно обхамила ее, хотя русская еще не успела сказать ни единого слова. Обе женщины вцепились друг другу в волосы, и в это время огромный матрос-швед хватил русскую по физиономии, чтобы она пришла в себя. С этого, собственно, все и началось. Коллинз спросил шведа, какое он имеет право вмешиваться в драку. В ответ швед смазал его по морде с

186

такой силой, что Коллинз отлетел на другую сторону бара. "Так тебе и надо!" – заорала Иветт и, воспользовавшись замешательством, хватила русскую бутылкой по голове. Началась гроза. Некоторое время в баре происходило настоящее побоище: женщины решили, что настал момент вернуть друг другу все мелкие должки. Нет более удобного случая, чем пьяная драка, чтобы всадить кому-нибудь нож в спину или ударить бутылкой по башке, пока он лежит под столом. Швед попал в настоящее осиное гнездо – его ненавидели все, в особенности его товарищи по кораблю. Они хотели, чтобы он был добит. Закрыв двери, разбросав столы и стулья и очистив место возле стойки бара, они ждали, что Коллинз его прикончит. И Коллинз их не подвел – несчастного шведа унесли на носилках. Сам Коллинз отделался довольно счастливо – вывихнутой кистью, парой выбитых суставов пальцев, расквашенным носом и подбитым глазом. "Несколько царапин", – как он сказал нам. Но это еще не конец. Коллинз обещал, что если когда-нибудь попадет с этим шведом на один корабль, то убьет его.

Однако ставить точку было еще рано. Оказывается, после побоища в баре, Иветт перебралась в другой и напилась там до бесчувствия.

187

вия. Ее оскорбили, и она решила, что пора покончить со всем этим раз и навсегда. Взяв такси, Иветт поехала на берег, к утесам, нависшим над самой водой. Она хотела утопиться, но была так пьяна, что, вывалившись из машины, начала плакать и, прежде чем ее успели остановить, стащила с себя одежду. В конце концов шофер привез ее назад в разгромленный бар почти голой. Увидев ее, Джимми пришел в ярость. Он принес ремень для правки бритв и избил Иветт до полусмерти. Как ни странно, ей это очень понравилось. "Еще, еще..." – умоляла она, стоя перед ним на коленях и обхватывая руками его ноги. Но Джимми все это уже надоело. "Ты – грязная сука!" – заорал он и дал ей такого пинка под ребра, что она потеряла сознание, а вместе с ним – на время – и большую часть своей сексуальной дури.

Пора было выбираться отсюда. В утреннем свете город выглядел совсем по-другому. Последнее, о чем мы говорили в ожидании поезда, был штат Айдахо. Мы все трое были американцами. Лучше всего держать Америку в отдалении, на заднем плане, как открытку, на которую можно посмотреть в тяжелую минуту. Тогда вы можете всегда вообразить, что она ждет вас – неизменная, неиспорченная, ог-

188

ромная патриотическая прерия с коровами и овцами и с мягкостердечными ковбоями, готовыми уконтракопить все на своем пути – мужчин, женщин, скот. Америки не существует вообще. Ее нет. Это – название, которое люди дали вполне абстрактной идеи...

10

Париж – как девка... Издалека она восхитительна, и вы не можете дождаться минуты, когда заключите ее в объятья... Но через пять минут уже чувствуете пустоту и презрение к самому себе. Вы знаете, что вас обманули.

Я вернулся в Париж с деньгами в кармане – несколькими сотнями франков, которые Коллинз сунул мне в последнюю минуту, когда мы садились в поезд. Этого было достаточно, чтобы заплатить за номер и прекрасно есть в течение недели. Я уже несколько лет не держал в руках таких денег и чувствовал возбуждение, какое испытывает человек, ожидающий, что вот-вот для него начнется новая жизнь. Мне хотелось оставаться богатым как можно дольше.

Я мог снять здесь комнату за сто франков в месяц, без всяких удобств, конечно, и даже без окна, и я бы, наверное, ее снял, чтобы

189

иметь крышу над головой, если бы мне не нужно было проходить через комнату слепого, смежную с моей. Мысль о том, что я должен каждую ночь проходить мимо его кровати, угнетала меня. Короче, я решил подождать до вечера, осмотреться как следует и потом найти что-нибудь поприличнее на одной из прилегающих улиц.

За обедом я истратил пятнадцать франков – вдвое больше, чем собирался. Это окончательно испортило мое настроение – до такой степени, что я даже отказался от кофе, хотя начинался дождь. Я встал с твердым намерением побродить по улицам час-другой и рано лечь спать. Экономия уже начинала отравлять мне жизнь. Никогда раньше я подобными вещами не занимался – этого просто не было в моей натуре.

Между тем мелкий дождь перешел в проливной, и я обрадовался. Замечательный предлог, чтобы забраться куда-нибудь в кафе и отдохнуть. Лечь спать в такую рань я не мог. Ускорив шаг, я свернул за угол и пошел обратно на бульвар Распай. Вдруг ко мне подходит женщина и спрашивает, который час. Я отвечаю ей, что у меня нет часов. И тут она выпаливает: "Милостивый государь, не говорите ли вы случайно по-английски?" Я кивнул. Дождь

190

уже лил вовсю. "Не будете ли вы так добры зайти со мной в кафе? Идет дождь, а у меня нет денег. И простите меня, ради бога, но у вас такое доброе лицо... Я сразу же поняла, что вы англичанин". Произнеся все это, она улыбается странной, полубезумной улыбкой. "Я одна на свете... Может быть, вы сможете дать мне совет... Боже мой, это так ужасно – не иметь денег..."

Эти "милостивый государь", "будьте так добры", "доброе лицо" начинают меня смешить. Мне и жалко ее, и в то же время я не могу удержаться от смеха и смеюсь ей прямо в лицо. К моему удивлению, она начинает смеяться тоже, но каким-то диким, визгливым, истерическим смехом и совершенно не в тон. Я хватаю ее за руку, и мы забегаем в первое попавшееся бистро. Она все еще смеется. "Милостивый государь, – начинает она опять. – Может быть, вы думаете, что я говорю вам неправду. Поверьте, я порядочная девочка... из хорошей семьи... только... – При этом она опять улыбается своей пустой, бессмысленной улыбкой. – Только у меня нет счастья, даже самого маленького, чтоб просто где-нибудь приткнуться..." Мне снова становится смешно, и я не могу сдержаться – ее голос,

191

язык, акцент, нелепая шляпка на голове, полуумная улыбка...

– Послушайте, – говорю я, отсмеявшись, – кто вы по национальности?

– Я англичанка, – отвечает она. – То есть вообще-то я родилась в Польше, но мой отец был ирландец.

– И это делает вас англичанкой?

– Конечно, – говорит она с коротким смешком, слегка смущенно и с претензией на кокетство.

– Вероятно, вы знаете какой-нибудь маленький отель, куда мы можем пойти? – Я вовсе не собираюсь идти с ней, просто хочу помочь ей преодолеть первую стадию подобного рода знакомств.

– О нет, милостивый государь! – говорит она таким тоном, точно я совершил ужасную ошибку. – Я уверена, что вы не хотели сказать этого! Я не такая девушка. Вы, наверное, пошутили... Я вижу это по вашему лицу... Вы такой добрый. Я никогда не позволила бы себе заговорить с французом так, как заговорила с вами. Француз непременно тут же меня бы оскорбил...

Некоторое время она продолжала в том же духе. И мне уже хотелось отделаться от нее, но она меня не отпускала. В ее глазах был

192

испуг – она сказала, что у нее не в порядке документы. Не буду ли я так любезен проводить ее до гостиницы? И, может быть, я "одолжу" ей пятнадцать-двадцать франков, чтобы она могла успокоить хозяина? Я проводил ее до гостиницы, где, по ее словам, она жила, и всунул ей в руку бумажку в пятьдесят франков. Или это была очень хитрая женщина, или очень наивная – иногда трудно отличить одно от другого, – но она попросила меня подождать, пока разменяет деньги в бистро, чтобы дать мне сдачу. Я сказал ей, чтоб она не беспокоилась. Тут она схватила мою руку и поднесла к губам. Это меня так ошарашило, что я уже был готов отдать ей все. Ее импульсивный глупый жест растрогал меня. Как хорошо однако, быть иногда богатым и получать такие совершенно новые впечатления, подумал я. Но головы все же не потерял. Пятьдесят франков! Сколько еще можно выбросить за один дождливый вечер! Когда я уходил, она махала мне своей нелепой маленькой шляпкой, которую к тому же не умела носить, махала так, словно я был ее старым приятелем. И я почувствовал себя очень глупо. "Милостивый государь... вы так добры... так милы... так хороши..." Мне уже казалось, что я святой.

193

Когда ты прямо-таки лопаешься от важности, очень трудно идти спать. Чувствуешь, что должен как-то возместить себе этот неожиданный припадок благородства. Проходя мимо монпарнасских "Джунглей", я увидел танцевальную площадку. Женщины с обнаженными спинами и жемчужными ожерельями, которые как будто душили их, покачивали своими прелестными попочками. Я тут же направился туда и, подойдя к стойке бара, заказал бокал шампанского. Когда музыка смолкла, рядом со мной уселась красивая блондинка, вероятно норвежка. Зал был вовсе не так полон, как мне показалось с улицы. Всего каких-нибудь шесть пар, но когда они танцевали, возникало впечатление толчеи. Я заказал еще шампанского, чтобы поддержать свое постепенно падающее настроение.

Когда я пригласил блондинку потанцевать, мы оказались одни. В другой раз я был бы этим смущен, но выпитое шампанское, страсть, с которой она ко мне прижалась, притушенные огни и чувство независимости, появляющееся вместе с несколькими сотнями франков в кармане... словом, что говорить!

Мы танцевали словно на сцене. Вдруг моя дама заплакала – с этого все и началось. Я подумал, что, может быть, она выпила лишне-

194

го, и не придал ее слезам большого значения, а стал оглядывать помещение в поисках другого товара. Но мы были одни.

Если вы попались, то единственный выход – бежать как можно скорее. Но мысль о том, что в другом месте опять придется давать на чай гардеробщику, удерживала меня. Всегда попадаешь в капкан из-за такой вот ерунды.

Причину слез блондинки я узнал почти немедленно: она только что похоронила ребенка. И она вовсе не была норвежкой, она была настоящей француженкой, к тому же акушеркой. Очень шикарной акушеркой, должен признаться, даже в слезах. Я поинтересовался, не подбодрит ли ее капля спиртного. Она тут же заказала виски и проглотила его не моргнув глазом. На мое предложение повторить она ответила, что, наверное, именно это ей сейчас и нужно, ведь она так убита горем. При этом она просит у меня еще пачку американских сигарет "Кэмел". "Или нет, лучше "Пэлл-Мэлл"!", – решает она, поразмыслив. "Бери что хочешь, – подумал я, – но, ради бога, прекрати этот рев, он действует мне на нервы". Я поднял ее для нового танца. На ногах это был другой человек. Не знаю, может быть, горе разжигает страсть. Я шепнул ей на ухо, что нам пора отсюда уйти. "Куда?" – откликнулась она с яв-

195

ной готовностью. "О, куда угодно. В какое-нибудь тихое место, где мы сможем поговорить".

В уборной я подсчитал свои ресурсы. Запрятив стофранковые бумажки в кармашек для часов и оставив пятьдесят франков и мелочь в кармане, я вернулся в бар с твердым намерением довести дело до конца.

Это оказалось нетрудно – она сама завела разговор о своих несчастьях, которые так и сыпались на нее. Она не только потеряла ребенка, но у нее на руках была очень больная мать, которой нужны врачи и лекарства. Разумеется, я не верил ни одному ее слову. И поскольку я не снял себе комнату, я предложил ей зайти в какую-нибудь гостиницу и там переночевать. Так я собирался сэкономить. Но моя партнерша не согласилась. Она хотела, чтобы мы пошли к ней, у нее есть квартира, к тому же нельзя оставлять больную мать так надолго. Подумав, я сообразил, что это будет еще дешевле, и согласился. Все же я решил выложить карты на стол, чтобы избежать неприятных разговоров в последний момент. Когда я сказал ей, сколько денег у меня в кармане, мне показалось, что она близка к обмороку. Она была оскорблена до глубины души, и я ждал скандала, но тем не менее решил не сдаваться.

196

– В таком случае, крошка, – сказал я спокойно, – наши пути расходятся. Может быть, я допустил ошибку.

– И еще какую! – воскликнула она, но тем не менее схватила меня за рукав. – Послушай, дружок... будь пощедрее.

От этих слов я вновь приобрел уверенность. Я понял: все что от меня требуется, – это пообещать ей маленькую прибавку?

– Хорошо, – сказал я устало. – Ты увидишь, что я тебя не обижу.

– Так ты сказал мне неправду?

– Да, – ответил я улыбаясь. – Я хотел тебя проверить.

Не успел я надеть шляпу, как она уже поймала такси и назвала шоферу адрес на бульваре Клиши. Одна поездка туда будет стоить больше, чем комната на ночь, подумал я. Ладно, посмотрим... У меня еще есть время. Не помню, с чего это началось, но вдруг она заговорила об Анри Бордо. Я еще не встречал в Париже проститутки, которая бы не знала Анри Бордо! Но эта говорила с настоящим вдохновением: фразы были прелестны, выбор слов – безупречен, и я уже соображал, сколько же ей придется прибавить. Мне казалось, что я даже уловил фразу: *"Когда в мире не будет больше времени..."* По крайней мере пример-

197

но так это звучало. При моем теперешнем настроении такая фраза стоила ста франков. Но я хотел бы знать, сама она это придумала или выдумала из Анри Бордо. Впрочем, это не важно. Это как раз та фраза, с которой можно подъехать к подножию горы Монмартр. "Добрый вечер, мадам! Ваша дочь и я позаботимся о вас... когда в мире не будет больше времени!" Кроме того, она обещала показать мне свой диплом – я запомнил это.

Едва за нами закрылась дверь, как "норвежка" стала метаться по квартире, заламывая руки почти в исступлении и принимая позы Сары Бернар. При этом она то раздевалась, то прекращала, умоляя меня поторопиться с моим собственным туалетом. В конце концов, когда она разделась и, держа в руках сорочку, искала кимоно, я поймал и зажал ее. Когда я ее выпустил, на ее лице было выражение отчаяния. "Боже мой, боже мой, мне надо бежать вниз и посмотреть, как мама!" – воскликнула она. – Если хочешь, прими ванну, *cheri*¹. Вон там. Я вернусь через несколько минут!" Возле дверей я опять обнял ее. Я уже был в нижнем белье и вполне дееспособен. Почему-то все

¹ Дорогой (франц.)

198

это волнение, все эти вопли и несчастья еще больше возбуждали меня. Вероятно, она побежала вниз успокоить своего сутенера. У меня было странное чувство, что тут есть нечто таинственное, о чем я, может быть, прочту в утренней газете. Какая-то скрытая драма. Я быстро осмотрел квартиру. Две комнаты, довольно прилично, даже кокетливо обставленные, и ванная. На стене висел акушерский диплом – как

обычно, "первой степени". А на столе стояла фотография ребенка – прелестной девочки с локонами. Войдя в ванную, я пустил воду, но потом передумал. Если что-нибудь случится, а я в это время буду в ванне... нет, мне эта ситуация не улыбалась. Я стал ходить по квартире взад и вперед, и мне становилось все более и более не по себе.

Наконец блондинка вернулась, но вконец расстроенная. "Она умрет... она умрет!" – рыдала она. Я хотел даже уйти. Как можно спать с женщиной, когда внизу умирает ее мать, может быть, прямо у нас под ногами? Все же я обнял ее – частично из сострадания, частично – еще надеясь получить то, за чем я сюда пришел. Прижавшись ко мне, она стала трагическим голосом шептать про деньги, которые ей так нужны... конечно, для шатал. "Ну и дермо же ты", – подумал я, но решил не тор-

199

говаться. Подойдя к стулу, где были сложены мои вещи, я выудил из кармашка для часов стофранковую бумажку, однако постарался, чтобы она не увидела, что это не последние мои деньги. Для верности я переложил брюки на стул с той стороны кровати, где собирался лечь. Стая франков, по словам блондинки, было маловато, однако по ее интонации я понял, что этого хватит за глаза. Теперь с поразившей меня живостью она сбросила кимоно и немедленно оказалась в постели. Едва я обнял ее и притянул к себе, она нажала выключатель, и комната погрузилась в темноту. Страстно обняв меня, она принялась стонать, как это делают все французские шлюхи. Я был в невероятном возбуждении, а непривычная тьма придавала всей ситуации новый, какой-то романтический оттенок. Все же головы я не потерял и, как только смог, проверил, на месте ли мои брюки.

Я был уверен, что мы уже устроились на ночь. Кровать оказалась удобной, гораздо мягче, чем в гостиницах, и я заметил, что простыни были чистыми. Если бы только она так не крутилась! Можно было подумать, что она не видела мужчину целый месяц. Я хотел растянуть удовольствие – выжать все возможное из своих ста франков. Но она шептала мне

200

что-то, не умолкая ни на минуту, на том страстном постельном языке, который всегда так возбуждает, особенно в темной комнате. Из всех сил я старался сдержаться, боролся как мог, но все эти усилия бесполезны, если женщина, которую вы сжимаете в объятиях, стонет, дрожит и шепчет: "Vite, cheri! Oh, c'est bon! Oh, oh! Vite, vile, cheri!". Я пытался считать в уме, но ее страсть действовала на меня, как набат. "Vite, cheri, vile!". При этом она содрогнулась всем телом с такой силой, что плотину прорвало, и все было кончено. Звезды звенели у меня в ушах, и мои сто франков пошли прахом, не говоря о пятидесяти, которые я дал ей раньше и о которых уже позабыл. Вспыхнул свет, и моя красотка выскочила из кровати так же быстро, как туда заскочила, при этом она продолжала стонать и повизгивать, как поросенок. Я закурил и посмотрел с тоской на свои измятые брюки. Через минуту она снопом была рядом со мной, кутаясь в кимоно и говоря быстро и возбужденно (это уже начинало меня раздражать): "Я спущусь вниз к маме, на минутку... Будь как дома — Я скоро вернусь".

¹ Скорее, милый, скорее! О, как хорошо! (франц.)

201

Прошло четверть часа, и меня опять охватило беспокойство. Подойдя к столу, я прочел письмо, лежавшее там, – ничего интересного, обычное любовное письмо. В ванной я осмотрел бутылочки на полках; здесь было все необходимое, чтобы женщина приятно пахла. Я надеялся, что она вернется и отработает по крайней мере еще пятьдесят франков. Но время шло, а блондинка не появлялась. Теперь я уже забеспокоился не на шутку. Может быть, внизу действительно кто-то умирает? Вероятно, повинувшись инстинкту самосохранения, я начал одеваться, но когда застегивал пояс, внезапно вспомнил, как она засунула мои сто фраков в сумочку. В волнении она положила ее в шкаф на верхнюю полочку. Я отчетливо помнил, как она встала на цыпочки, чтобы до нее дотянуться. В ту же секунду я был возле шкафа. Сумочка оказалась на месте. Быстро открыв ее, я увидел мою стофранковую купюру, мирно лежавшую в атласном кармашке. Я положил сумочку обратно, надел ботинки и пиджак и открыл дверь па лестницу. Мертвая тишина. Куда эта девка подевалась? Вернувшись в комнату, я стал копаться в сумочке. Я забрал свои сто франков, а заодно выгреб и всю мелочь. Потом, закрыв дверь, спустился на цыпочках по лестнице и быстро зашагал

202

прочь от этого дома. Добравшись до кафе "Будон", я зашел туда перекусить. Сидевшие здесь проститутки издевались над толстяком, который заснул над тарелкой. Он спал и даже похрапывал, но его челюсти продолжали двигаться. Кругом стоял хохот. Иногда кто-то кричал: "По вагонам!" И все начинали ритмично стучать ножами и вилками по тарелкам. Толстяк открывал глаза, тупо моргал, но через минуту голова его снова скатывалась на грудь. Я положил мои сто франков в кармашек для часов и подсчитал мелочь. Шум вокруг все усиливался, и теперь я уже не мог припомнить, действительно ли видел слова "первой степени" на дипломе, висевшем в комнате блондинки. О ее матери я не беспокоился, надеясь, что к этому времени она уже умерла. Как странно было бы, если бы все, что она говорила, оказалось правдой... "Vite, cheri... vite, vite!" И эта полуумная со своим "милостивым государем" и "добрый лицом"! Интересно, она на самом деле жила в этой гостинице, перед которой мы с ней расстались?..

11

Когда лето уже подходило к концу, Филмор предложил мне переехать к нему. У него

203

была славная квартирка, окна которой выходили на кавалерийские казармы около площади Дюпле. Мы с Филмором часто встречались после нашей поездки в Гавр. И если бы не он, не знаю, что бы со мной стало, — вероятно, я умер бы с голоду.

— Я бы давно ухе пригласил тебя, — сказал Филмор, — если бы не эта маленькая шлюшонка Джеки. Я не знал, как от нее отделиться.

По утрам, уходя на работу, Филмор бесцеремонно будил меня и оставлял на подушке десять франков. Когда он уходил, я засыпал опять и часто валялся в постели до полудня. Заниматься мне было, в сущности, нечем, кроме собственной книги, но я уже понимал, что никто и никогда ее не напечатает. Однако на Филмора моя рукопись произвела большое впечатление. В дни, когда мне нечего было ему предъявить, я чувствовал себя такой же вошью, как те шлюхи, которых он пригревал до меня. Я вспоминал, как он говорил о Джеки: "Все бы ничего, если б она давала мне иногда..." Будь я женщиной, я б с удовольствием это делал — мне это было бы легче, чем кормить его страницами собственной рукописи.

Все же Филмор старался сделать мою жизнь у себя приятной. В доме всегда было

204

вдоволь и еды, и вина, а иногда он тащил меня с собой в дансинг. Филмор вздохнул с облегчением, когда Марк Свифт, часто к нам заходивший, решил писать мой портрет. Филмор питал к Свифту глубокое уважение. По его мнению, Свифт был гений. И хотя люди или предметы на его полотнах имели весьма свирепый вид, он все же не деформировал их до неузнаваемости.

По совету Свифта я начал отпускать бороду. Он говорил, что моя форма черепа требует бороды. Свифт собирался изобразить меня сидящим у окна, на фоне Эйфелевой башни, которая нужна была ему для равновесия композиции. Так или иначе, на мольберте красовался мой незаконченный портрет, и, хотя все пропорции были нарушены, даже министр смог бы понять, что на холсте изображен человек с бородой, а наша консьержка начала проявлять к портрету живой интерес.

Однажды вечером, вернувшись домой с прогулки, я столкнулся с женщиной, выскочившей из спальни. 'Так, значит, вы писатель! — воскликнула она и уставилась на мою бороду, точно ища в ней подтверждение своим словам. — Какая ужасная борода! — продолжала она. — По-моему, вы все здесь помешанные!" С одеялом в руках за ней появляется Филмор.

205

"Это княгиня", — говорит он мне, причмокивая, словно только что поел черной икры. Оба они были одеты так, точно собирались уходить, и я не мог понять, при чем тут одеяло. Но потом сообразил, что, вероятно, Филмор показывал княгине мешок для грязного белья, который стоял в спальне. На мешке были вышиты слова из дурацкого американского анекдота о китайских прачках: "Нет ласпинки — нет и любашки". Филмор обожал истолковывать изречения француженкам — если, мол, нет "расписки", то есть товара лицом, то нет и "рубашки", то есть денег. Но эта дама не была француженкой, о чем Филмор немедленно объявил мне. Она была русская и к тому же княгиня.

— Она говорит на пяти языках! — заявил он, явно подавленный такой образованностью.

Княгиня явно нервничала — то и дело почесывала бедро или вытирала нос.

— Зачем он стелит постель? — внезапно спросила она меня. — Неужели он думает, что я буду с ним спать? Он просто ребенок. К тому же с ужасными манерами.

Княгиня ходила по комнате, рассматривая картины и книги, и все время почесывалась. Филмор ходил за ней с бутылкой и стаканом в руках.

206

— Зачем вы ходите за мной? Что вам надо?! — воскликнула она. — Неужели у вас нет ничего более приличного? Неужели вы не можете достать бутылку шампанского? Мне надо выпить бутылку шампанского... Ах, мои нервы, нервы!

Филмор наклонился ко мне и зашептал:

— Актриса — Кинозвезда... Кто-то ее бросил, и она не может забыть его... Я ее хочу напоить...

— Тогда, наверное, мне лучше уйти? — спросил я. Но княгиня прервала нас.

— Почему вы шепчетесь? — закричала она, топая ногой. — Разве вы не знаете, что это неприлично? И вы — вы обещали повести меня куда-нибудь! Я должна сегодня напиться! Я ведь вам уже сказала!

— Конечно, конечно, — засуетился Филмор. — Мы сейчас пойдем. Я просто хочу выпить стаканчик.

— Вы — животное! — выкрикнула вдруг княгиня. — Но вы все же славный мальчик. Только говорите слишком громко и не умеете себя вести. — Она повернулась ко мне: — Как вы думаете, я могу доверять этому человеку?

Когда они уходили, княгиня церемонно пожала мне руку и сказала, что когда-нибудь она придет к нам на обед.

207



– Когда буду трезвой, – добавила она.

– Чудно! – воскликнул я. – И приведите с собой еще какую-нибудь княгиню или хотя бы графиню. У нас меняют простыни каждую субботу.

В три часа ночи Филмор вкатывается домой... один и пьяный как сапожник. Через минуту он появляется в моей комнате, все еще с шляпой и тростью в руке.

– Я ждал чего-то в этом роде. Ты знаешь, она сумасшедшая!

Однако спустя несколько дней княгиня появилась у нас. Эта женщина, по-видимому, действительно была настоящей княгиней. По всем признакам. Правда, у нее обнаружился триппер. Но, как бы то ни было, теперь она живет у нас, и нам не скучно с нею. У Филмора – бронхит, у княгини, как я уже сказал, – триппер, у меня – геморрой. Я только-что сдал шесть пустых бутылок в русской бакалейной лавке через дорогу. Шесть бутылок, из которых я не выпил ни капли. Мне нельзя ни мяса, ни вина, ни жирной дичи, ни женщин. Только фрукты и парафиновое масло, капли с арникой и адреналиновая мазь. И во всем доме нет удобного для меня стула. Сейчас, глядя на княгиню, я сижу, обложенный подушками, точно какой-нибудь паша! Это напомнило мне о княгине Маше.

209

нает мне имя княгини – Маша. Для меня оно звучит не особенно аристократично. Напоминает "Живой труп".

Вначале я думал, что жить втроем будет очень неудобно, но я ошибся. Когда Маша переезжала, я уже считал, что теперь мне надо будет искать новое пристанище, но Филмор сказал, что дает ей приют только до тех пор, пока она не встанет на ноги. Я не совсем понимаю, что это значит по отношению к такой женщине, как она; насколько я могу судить, она всю жизнь стояла не на ногах, а на голове. Она считает, что это революция изгнала ее из России, но я уверен, что если бы не было революции, то было бы что-нибудь другое. Маша убеждена, что она замечательная актриса;

мы никогда с ней ни о чем не спорим. Зачем? Это пустая трата времени. Филмор находит ее забавной. Уходя утром, он кладет десять франков на мою подушку и десять франков на Машину, а вечером мы все втроем обедаем в русском ресторане внизу. В этом квартале много русских, и Маша уже нашла место, где ей открыли кредит. Конечно, десять франков – ничто для княгини; она любит икру и шампанское, и ей нужно одеться, прежде чем искать работу в кино. Пока же она ничего не делает. Она толстеет.

210

Сегодня утром у нас был небольшой скандалчик. Умывшись, я по ошибке схватил ее полотенце. Нам не удается приучить ее вешать полотенце на свой крючок. И когда я накричал на нее, она совершенно спокойно ответила: "Дорогой мой, если бы от этого можно было потерять зрение, как вы говорите, я бы уже давно была слепой".

Потом, конечно, все эти недоразумения с уборной. Я стараюсь говорить с ней по поводу стульчака отеческим тоном. "Какая чушь! – отмахивается она. – Если вы все так боитесь заразы, я буду пользоваться уборной в кафе!" Я пытаюсь ей объяснить, что нужно просто соблюдать элементарные правила. "Чушь! – повторяет она. – Я не буду садиться, я буду все делать стоя".

С приездом Маши в доме все идет кувырком. Прежде всего она отказалась спать с нами, ссылаясь на менструацию. Это длилось восемь дней мы начали подозревать, что она привирает. Но оказалось, что мы возводили на нее напраслину. Однажды, когда я пытался привести квартиру в порядок, я нашел под ее кроватью ватные тампоны, пропитанные кровью. У нее все идет под кровать: апельсиновые корки, пустые бутылки, ножницы, старые презервативы, книги, подушки... Она пе-

211

рестилает постель только перед тем, как лечь спать. Вообще Маша лежит в постели целый день, читая русские газеты. "Дорогой мой, – говорит она мне, – если бы не газеты, я бы и вовсе не вылезала из постели". И это правда. Мы заросли русскими газетами. Кроме русских газет, нечем подтереть задницу.

Конечно, она была со странностями. Когда у нее кончилась менструация и она отдохнула и даже нарастила жирок вокруг талии, она все равно отказалась иметь с нами дело. Теперь она уверяла, что любит женщин. Для того, чтобы спать с мужчинами, ей нужно специальное возбуждение. Она просила нас взять ее в вертеп, где женщины совокупляются с собаками. Или еще лучше, может быть, где-нибудь есть Леда с лебедем. Взмахи крыльев, видите ли, ужасна ее возбуждают.

Однажды мы устроили ей проверку и взяли в такое место. Но прежде чем мы успели обсудить это дело с мадам, с нами заговорил пьяный англичанин, сидящий за соседним столиком. Он уже дважды ходил наверх, но хотел попробовать еще раз. Англичанин просил нас помочь ему столкнуться с девицей, на которую он положил глаз, потому-что у него оставалось всего двадцать франков, а по-французски он не знал ни слова. Девица ока-

212

залась негритянкой с острова Мартиника; здоровенная, веселая и красивая, как пантера. Чтобы убедить ее забрать последние гроши у англичанина, Филмор пообещал, что придет к ней, как только она разделется с клиентом. Княгиня, наблюдавшая за переговорами, тут же села на своего аристократического конька. Она обиделась. "Хорошо, – сказал Филмор. – Ты хотела возбуждения? Прекрасно! Вот сиди и смотри, как я это буду делать!" Но она вовсе не хотела смотреть на Филмора, она хотела смотреть на селезня. "Черт подери! – возмутился Филмор. – Я не хуже селезня. И даже лучше!" Так, слово за слово, началась ссора. Чтобы успокоить Машу, пришлось позвать одну из девиц и оставить их вдвоем щекотать друг друга... Когда Филмор с негритянкой вернулись, глаза его горели. По тому, как он смотрел на нее, я понял, что за восхитительный спектакль она ему устроила, и у меня пересохло горло. Филмор взглянул на меня и, вытащив сто франков, положил передо мной. Он понимал. Чего мне это стоило – сидеть здесь целую ночь в качестве зрителя. "Послушай, – сказал он, – я думаю, тебе это нужнее чем нам. Вот деньги, выбери себе кого-нибудь". Почему-то это произвело на меня боль шее впечатление, чем все, что он сделал для

213

меня раньше – а сделал он немало. Я взял деньги, оценив благородный порыв Филмора, и попросил негритянку приготовиться. Княгиня разобиделась окончательно. Неужели я считаю, что эта негритянка – единственная женщина, которая может привести мужчину в возбуждение? Я сказал, что да, единственная. Так оно и было. Негритянка царила в этом гареме.

Стоило только посмотреть на нее, чтобы у вас немедленно возникла эрекция. Ее глаза как будто плавали в сперме. Она точно пьянела от всех мужчин, что бывали у нее наверху. Мне казалось, что она уже не может ходить прямо. Идя за ней по узкой винтовой лестнице, я не мог побороть желания просунуть руку между ее ногами. Так мы ишли – иногда она оглядывалась и смотрела на меня с улыбкой или покручивала задом, когда становилось очень щекотно.

В общем, мы отлично провели время. Все были счастливы. Даже Маша пришла в хорошее настроение. И на следующий вечер, после того как она получила очередную порцию шампанского и икры и рассказала нам новую главу из истории своей жизни, Филмор принял за нее всерьез. Она перестала сопротивляться. Она легла на кровать, раздвинула ноги

214

и позволила ему делать все, что он хотел. Но когда он был уже готов употребить ее, она сказала спокойно, что у нее триппер. Филмор скатился с нее кувырком. Я слышал, как он возился в кухне, доставая свое специальное черное дегтярное мыло. Через десять минут он уже стоял возле меня с полотенцем в руках. "Можешь себе представить? Эта сволочная княгиня – трипперная!" Филмор, по-видимому, испугался не на шутку. Между тем княгиня, грызя яблоко, попросила принести ей русские газеты. Очевидно, для нее все это было шуткой. "Подумаешь, триппер... есть вещи и посерьезнее", – крикнула она с кровати в открытую дверь. Спустя несколько минут и Филмор стал относиться к происходящему с юмором. Он откупорил новую бутылку анжуйского, налил стакан и залпом выпил. Был только час ночи, и мы еще некоторое время сидели и болтали, Филмор заявил, что все-таки его взаимоотношения с Машей на этом не закончатся. Конечно, надо быть осторожным... в Гавре у него открылся залеченный триппер. Он уже не помнил, как это случилось. Иногда в сильном подпитии он забывал сразу же помыться. Ничего серьезного, но все же чревато осложнениями. Он не хотел, чтобы ему массировали предстательную железу, да и вообще

215

мысль снова попасть в лапы врачей ему не улыбалась. Заболел он еще в университете. Неизвестно, подхватил ли он триппер от своей девушки или, наоборот, сам ее заразил. В студенческой среде были такие нравы, что разобраться в этом оказалось попросту невозможно. Студентки частенько ходили брюхатые. По большей части от неопытности. Даже профессора и те были неопытны. Поговаривали, что один из них себя кастрировал...

Так или иначе, на следующий день Филмор решил рискнуть и купил для этого случая Презерватив. Большого риска, вообще говоря, не было, если, конечно, презерватив не порвется. Но Филмор купил специальный – длинный, из рыбьей кожи. По его словам, это самые прочные. Но и тут его постигла неудача. У Маши оказалось крошечное влагалище. "Господи, – удивлялся Филмор, – со мной вроде бы все нормально. Ты что-нибудь понимаешь? Кто-то ведь должен был проникнуть туда – иначе как она могла заразиться? Наверное, у него был член, как у цыпленка".

После этого Филмор оставил Машу в покое. Они лежали в постели вместе, точно брат с сестрой, и видели кровосмесительные сны. Маша отнеслась к этому философски. "В России мужчины часто спят с женщинами, не тро-

216

гая их... Они могут лежать вот так вместе неделями, даже ни о чем не думая... Пока однажды он не дотронется до нее... И тогда – раз, и . еще раз, и еще много-много раз!"

Теперь все наши усилия сосредоточены на том, чтобы привести Машу в порядок. Филмор считает, что, когда она вылечится, ее влагалище расширится. Странная идея. Он купил ей спринцовку, перманганат, специальный шприц и все прочее, что ему рекомендовал маленький венгерский жулик, специализирующийся наabortах. По словам Филмора, его босс попал как-то в историю с шестнадцатилетней девчушкой – она-то и познакомила его с венгром, а потом, когда босс подцепил великолепный шанкр, его опять лечил этот венгр. В Париже знакомства и дружба завязываются чаще всего на почве секса и венерических болезней. В общем, Маша сейчас лечится под нашим строжайшим надзором. Как-то вечером она привела нас в полную растерянность. Она засунула в себя суппозиторий и потеряла конец шнурка, прикрепленного к нему. "Боже мой! – кричала она. – Где же шнурок? Боже мой! Я не могу его найти!"

– Ты смотрела под кроватью? – ядовито спросил Филмор.

217

Наконец она нашла шнурок и успокоилась. Но только на несколько минут. Следующее ее заявление было: "Боже мой, опять кровь! Только что кончились месячные – и пожалуйте! Это все от вашего дешевого шампанского! Боже мой, вы хотите, чтобы я изошла кровью?" С этими словами она появляется в кимоно и с полотенцем, зажатым между ногами, стараясь выглядеть аристократично, как всегда. "У меня всю жизнь так, – говорит она. – Это неврастения. Бегаю целыми днями и напиваюсь вечером. Когда приехала в Париж, я была девушкой. Я прочла только Вийора и Бодлера. Но у меня было триста тысяч швейцарских франков в банке, и я сходила с ума по удовольствиям, потому что в России меня держали очень строго. Я была еще прекрасней, чем сейчас, и мужчины падали к моим ногам... – При этом она массирует свою округлившуюся талию. – Когда я приехала сюда, у меня не было живота... это все от того яда, который здесь пьют... эти ужасные аперитивы, которые хлещут французы... Тогда-то я и встретила своего режиссера, и он хотел, чтобы я играла в его фильме. Он говорил, что я самое очаровательное существо в мире, и умолял меня спать с ним каждую ночь. Я была глупенькой, невинной девушкой и позволила ему изнаси-

218

ловать себя. Мне хотелось быть актрисой, и я не знала, что он болен... Это он наградил меня триппером... и сейчас я хочу вернуть ему этот подарок. Это его вина, что я чуть не покончила с собой... Чего вы смеетесь? Вы не верите, что я кончала самоубийством? Я могу показать вам газеты... мой портрет был во всех газетах. Когда-нибудь я покажу вам русские газеты... они замечательно все это описали... Но сейчас, мой дорогой, мне прежде всего нужны новые платья. Не могу же я соблазнять своего режиссера в этих обносках. И потом, я еще должна портнихе двенадцать тысяч..."

Тут Маша начинает длинный рассказ о наследстве, которое она хочет прибрать к рукам. У нее есть молодой адвокат-француз, по ее словам, довольно застенчивый человек, который ведет это дело. Время от времени он подкидывает ей сотню-другую франков в счет будущего наследства. "Он очень скуч, как все французы, – говорит Маша. – А я была так хороша,' когда пришла к нему, что он не мог оторвать от меня глаз. Он все время просил, чтобы я дала ему... Мне до того надоело, что однажды вечером я согласилась – просто чтобы он успокоился, а я и дальше изредка получала бы свои сто франков. – Она умолкает, потом начинает истерически хохотать. – Доро-

219

гой мой, – продолжает она, – то, что случилось, было безумно смешно! Однажды он звонит мне и говорит: "Мы должны немедленно увидеться... это чрезвычайно важно!" Я прихожу к нему, и он показывает мне медицинскую справку, что у него гонорея. Я рассмеялась ему прямо в лицо. Ну откуда же мне было знать, что у меня еще не прошел триппер? "Вы хотели, месье, меня выбить, а выбала вас я!" После этого он замолчал. Так всегда бывает в жизни... ничего не ожидаешь, и вдруг – трах! О, Господа, он такой идиот, что опять в меня влюбился и стал умолять хорошо себя вести, не болтаться больше по Монпарнасу, не пить и не блядствовать... Говорил, что без ума от меня. Хотел жениться, но семья подняла дикий скандал и заставила его уехать в Индокитай..."

Закончив рассказ об адвокате. Маша совершенно спокойно переходит к рассказу о приключении с лесбиянкой. "Это было так смешно, мой дорогой, как она подобрала меня однажды ночью в кафе "Фетиш". Я, как всегда, была абсолютно пьяна. Она стала таскать меня по разным кафе и щупать под столом. В конце концов я не выдержала, и, когда она привезла меня к себе, я ей позволила за две стопы франков. Она хотела, чтобы я переехала к ней, но мне вовсе не улыбалось спать с ней каждую

220

ночь... это очень ослабляет женщину. Кроме того, сказать по правде, я не люблю сейчас лесбиянок так, как любила их раньше. Я скорее уж буду спать с мужчиной, хотя мне и больно. Когда я очень возбуждена, я не могу сдерживаться, мне нужно три, четыре, пять раз подряд! Но потом у меня начинает идти кровь, а это очень вредно для здоровья – у меня предрасположение к малокровию. Вот почему я вынуждена позволять лесбиянкам иногда сосать меня..."

12

Когда наступили настоящие холода, княгиня исчезла. Ей было недостаточно маленькой печурки в гостиной; спальня была как ледник, и кухня не теплее. Только возле самой печки было тепло. Поэтому Маша нашла себе скульптора, который, по его словам, был скопцом. Она рассказала нам об этом перед своим отъездом. Через несколько дней Маша, правда, попыталась вернуться к нам, но на сей раз Филмор был как гранит. Она жаловалась, что скульптор своими поцелуями не дает ей спать по ночам. Кроме того, у него нет горячей воды для подмывания. Но в конце концов она решила, что все-таки, может быть, ей лучше не пе-

221

реезжать к нам обратно. "По крайней мере там хоть нет этого подсвечника – сказала она, имея ввиду Фидмора. – Всегда этот подсвечник... он действовал мне на нервы. Ах, почему вы не педерасты, я б тогда осталась с вами..."

С отъездом княгини наши вечера стали другими. Часто мы сидели перед огнем, потягивая горячий грот и вспоминая Америку. Мы говорили о ней так, как будто совсем не собирались туда возвращаться.

Сейчас три часа ночи. С нами две шлюшонки, которые делают сальто-мортале на полу. Филмор, совершенно голый, ходит вокруг них со стаканом в руке. Его животик туг, как барабан, и тверд, как свищ. Все перно и шампанское, коньяк и анжуйское, которые он хлестал с трех часов дня, булькают в его брюхе, точно в канализационной трубе. Девочки прикладывают ушки к его животу, точно это музыкальная шкатулка. Открой ему рот сапожным рожком и брось жетон в эту щель, чтобы шкатулка заиграла. Когда начинается бульканье в этой выгребной яме, я слышу, как летучие мыши срываются с колокольни и мечта сползает в яму хитрости.

Девочки уже раздеться, и мы с Филмором изучаем пол, чтобы они не занозили свои жопки. На них все еще туфли на высоких каблу-

222

ках. Но их задницы! Изношенные, выскобленные, начищенные наждачной бумагой, гладкие, твердые, блестящие, точно бильярдный шар или череп прокаженного! На стене висит портрет Моны – она смотрит на северо-восток, где зелеными чернилами написано "Краков". Слева от нее Дордонь, обведенная красным карандашом. Внезапно я вижу перед собой темную волосатую расселину в блестящей отполированной поверхности бильярдного шара:

ноги зажали мою шею борцовскими "ножницами". Один взгляд на эту темную незашитую рану – и голова моя раскалывается от образов и воспоминаний, которые мною же самим были так трудолюбиво собраны, зарегистрированы, записаны и разложены по папкам с ярлычками; все они выползают сейчас, как муравьи из расселины в тротуаре; земля перестает вращаться, время останавливается, причинная зависимость распадается, кишкы вываливаются наружу с какой-то дикой стремительностью, и их неожиданное выпадение оставляет меня лицом к лицу с Абсолютом. Я снова вижу расплывшихся матерей Пикассо с грудями, покрытыми пауками, и легендами, глубоко запрятанными в лабиринте. И Молли Блум, лежащую на грязном матраце в бесконечности, и х..., нарисованные красным мелом

223

на двери уборной, и рыдающую Мадонну. Я слышу дикий истерический смех, нижу заплеванную комнату – и тело, которое было черным, начинает мерцать фосфорическим блеском. Дикий, дикий, неудержимый смех – и эта расселина начинает тоже смеяться мне в лицо, она смеется сквозь пушистые бакенбарды, и смех морщит складками блестящую поверхность бильярдного шара. Великая блудница и мать человеческая с джином в крови. Я смотрю в этот кратер, в этот потерянный и бесследно исчезнувший мир, и слышу звон колоколов... две монашки у дворца Станислава, запах прогорклого масла из-под их одежды;

манифест, который не был опубликован, потому что шел дождь; война, послужившая развитию пластической хирургии; принц Уэльский, летающий по всему миру, чтобы украшать могилы неизвестных героев. Каждая летучая мышь, срывающаяся с колокольни, – это погибшее начинание, каждый торжественный крик – это стон, идущий из окопов обреченных. Из этой темной незашитой раны, этой выгребной ямы, этой колыбели наводненных черными толпами городов, где музыка мысли тонет в застывающем сале жизни, из задушенных утопий вдруг появляется паяц, в котором соединились красота и безобразие, свет и ха-

224

ос. Когда он смотрит вниз и вбок – это сам Сатана, а когда поднимает глаза к небу, то видит масляного ангела, улитку с крыльшками. Когда я смотрю вниз в эту расселину, я вижу в ней знак равенства, мир в состоянии равновесия, мир, сведенный к нулю без остатка.

Когда я смотрю вниз, в эту раздолбанную щель б...ди, я чувствую под собой весь мир, гибнущий, истасканный мир, отполированный, как череп прокаженного. Если бы кто-то посмел сказать все, что он думает об этом мире, для него не осталось бы здесь места. Когда в мир является Человек, мир наваливается

на него и ломает ему хребет. Он не может жить среди этих все еще стоящих, но подгнивших колонн, среди этих разлагающихся людей. Наш мир – это ложь на фундаменте из огромного зыбучего страха. Если и рождается раз в столетие человек с жадным ненасытным взором, человек, готовый перевернуть мир, чтобы создать новую расу людей, то любовь, которую он несет в мир, превращают в желчь, а его самого – в бич человечества. Если является на свет книга, подобная взрыву, книга, способная жечь и ранить вам душу, знайте, что она написана человеком с еще не переломанным хребтом, человеком, у которого есть только один

225

способ защиты от этого мира – слово; и это слово всегда сильнее всеподавляющей лжи мира, сильнее, чем все орудия пыток, изобретенные трусами для того, чтобы подавить чудо человеческой личности.

Если бы кто-то приподнял завесу над загадкой того, что сегодня называют "щель" или "дыра", если бы кто-то объяснил хотя бы частично ту тайну, которая окружает явление, "именуемое "непристойным", мир перестал бы существовать. Этот непристойный, сухой, раздолбаный взгляд на вещи и придает нашей сумасшедшей цивилизации форму кратера. Этот кратер и есть та великая зияющая пропасть небытия, которую титаны духа и матери человечества носят между ногами. Человек, чей дух жаден и ненасытен, человек, заставляющий визжать всех этих подопытных кроликов, хорошо знает, что ему делать с энергией, таящейся в половом влечении; он знает, что под панцирем безразличия всегда можно найти безобразную глубокую незаживающую рану. И он знает, как вонзиться в нее, как уязвить самые сокровенные ее глубины. Ему не нужны резиновые перчатки. Он знает, что все, подвластное интеллекту, – лишь оболочка, и потому, отбросив ее, он идет прямо к этой открытой ране, к этому гниющему непристойному

226

страху. И даже если от этого совокупления

родится только кровь и гной, все равно в нем есть живое дыхание жизни. Сухой, раздолбанный кратер, может быть, и непристоен. Паралич – богохульство более страшное, чем самое ужасное ругательство. И если в мире ничего не останется, кроме этой открытой раны, мир будет жить, потому что она не бесплодна, хотя и родит только жаб, летучих мышей и ублюдков.

В секунде оргазма сосредоточен весь мир. Наша земля – это не сухое, здоровое и удобное плоскогорье, а огромная самка с бархатным телом, которая дышит, дрожит и страдает под бушующим океаном. Голая и похотливая, она кружится среди облаков в фиолетовом мерцании звезд. И вся она – от грудей до мощных ляжек – горит вечным огнем. Она несется сквозь годы и столетия, и конвульсии сотрясают ее тело, пароксизм неистовства сметает паутину с неба, а ее возвращение на основную орбиту сопровождается вулканическими толчками. Иногда она затихает и похожа тогда на оленя, попавшего в западню и лежащего там с бьющимся сердцем и округлившимися от ужаса глазами, на оленя, боящегося услышать рог охотника и лай собак. Любовь, ненависть, отчаяние, жалость, негодование, отвращение –

227

что все это значит по сравнению с совокуплением планет? Что значат войны, болезни, ужасы, жестокости, когда ночь приносит с собой экстаз бесчисленных пылающих солнц? И что же тогда наши сновидения, как не воспоминания о кружащейся туманности или россыпи звезд?

Иногда Мона, впадая в восторженность, говорила мне: "Ты большой человек". И хотя она ушла, бросила меня погибать здесь, хотя она оставила меня на краю завывающей пропасти, ее слова все еще звучат в моей душе и освещают тьму подо мной. Я потерялся в толпе, шипящие огни одурманили меня, я нуль, который видел, как все вокруг обратилось в издевку. Мона смотрела на меня через стол подернутыми грустью глазами; тоска, которая росла в ней, расплющивала нос о ее спину; костный мозг, размытый жалостью, превратился в жидкость. Она была легка, как труп, плавающий в Мертвом море. Ее пальцы кровоточили горем, и кровь обращалась в слону. С мокрым рассветом пришел колокольный звон, и колокола прыгали по кончикам моих нервов, и их языки били в мое сердце со злобным железным гулом. Этот колокольный звон был странен, но еще страннее было разрывающееся тело, эта женщина, превратившаяся в ночь,

228

и ее червивые слова, проевшие матрац. Я продвигался по экватору, я слышал безобразный хохот гиен с зелеными челюстями, я видел шакала с шелковым хвостом, ягуара и пятнистого леопарда, забытых в саду Эдема. Потом ее тоска расширилась, точно нос приближающегося броненосца, и, когда он стал тонуть, вода залила мне уши. Я слышал, как почти бесшумно повернулись орудийные башни и извергли свою слюнявую блевотину; небо прогнулось, и звезды потухли. Я видел черный кровоточащий океан и тоскующие звезды, разрешающиеся вспухающими кусками мяса, и птицы метались в вышине, а с неба свешивались весы со ступкой и пестиком и фигура правосудия с завязанными глазами. Все, что здесь описано, движется на воображаемых ногах по мертвым сферам; все, что увидено пустыми глазницами, буйно расцветает, как весенние травы. Потом из пустоты возникает знак бесконечности; под уходящими вверх спиралью медленно тонет зияющее отверстие. Земля и вода соединяют цифры в поэму, написанную плотью, и эта поэма крепче стали и гранита. Сквозь бесконечную ночь Земля несется к неизвестным мирам...

Сегодня утром я пробудился после глубокого сна с радостным проклятьем на устах, с

229

абракадаброй на языке, повторяя, как молитву:

Pay ee que vouldras!..Fay ce que vouldras!¹ Делай что хочешь, но пусть сделанное приносит радость. Делай что хочешь, но пусть сделанное вызывает экстаз. Когда я повторяю эти слова, в голову мне лезут тысячи образов – веселые, ужасные, сводящие с ума: волк и козел, паук, краб, сифилис с распостертыми

крыльями и матка с дверцей на шарнирах, всегда открытая и готовая поглотить все, как могила. Похоть, преступление, святость, жизнь тех, кого я люблю, их ошибки, слова, которые они говорили, слова, которые они не договорили, добро, которое они принесли, и зло, горе, несогласие, озлобленность и споры, которые они породили. Но главное – это экстаз!

Яснее всего я вижу свой собственный череп, свой танцующий скелет, подгоняемый ветром; мой язык сгнил, и вместо него изо рта выползают змеи и торчат страницы рукописи, написанные в экстазе, а теперь измаранные испражнениями. И я часть этой гнили, этих испражнений, этого безумия, этого экстаза, которые пронизывают огромные подземные склепы плоти. Вся эта непрошенная, ненуж-

¹ Делай что хочешь! (старофранц.)

230

ная пьяная блевотина будет протекать через мозги тех, кто появится в бездомном сосуде, заключающем в себе историю рода человеческого. Но среди народов Земли живет особая раса, она вне человечества, – это раса художников. Движимые неведомыми побуждениями, они берут безжизненную массу человечества и, согревая ее своим жаром и волнением, превращают сырое тесто в хлеб, а хлеб в вино, а вино в песнь – в захватывающую песнь, сотворенную ими из мертвого компоста и инертного шлака. Я вижу, как эта особая раса громит вселенную, переворачивает все вверх тормашками, ступает по слезам и крови, и ее руки простерты в пустое пространство – к Богу, до которого нельзя дотянуться. И когда они рвут на себе волосы, стараясь понять и схватить то, чего нельзя ни понять, ни схватить, когда они ревут, точно взбесившиеся звери, рвут и терзают все, что стоит у них на дороге, лишь бы насытить чудовище, грызущее их кишкы, я вижу, что другого пути для них нет. Человек, принадлежащий этой расе, должен стоять на возвышении и грызть собственные внутренности. Для него это естественно, потому что такова его природа. И все, что менее ужасно, все, что не вызывает подобного потрясения, не отталкивает с такой силой, не

231

выглядит столь безумным, не пьянит так и не заражает, – все это не *искусство*. Это – подделка. Зато она, человечна. Зато она примиряет жизнь и безжизненность.

Сегодня я знаю свою родословную. Мне не надо изучать гороскоп или генеалогическое древо. Я не знаю ничего, что записано в звездах или в моей крови. Я знаю, что произошел от мифических основателей расы. Человек, подносящий бутылку со святой водой к губам;

преступник, выставленный на обозрение на базаре; доверчивый простак, обнаруживший, что все трупы воняют; сумасшедший, танцующий с молнией в руке; священник, поднимающий рясу, чтобы нассать на мир; фанатик, громящий библиотеки в поисках Слова, – все они соединились во мне, от них моя путаница, мой экстаз. И если я вне человечества, то только потому, что мои мир перелился через свой человеческий край, потому, что быть человечным – скучное и жалкое занятие, ограниченное нашими пятью чувствами, моралью и законом, определяемое затасканными теориями и троюзмами. Я лью в глотку сок винограда и нахожу в этом мудрость, но моя мудрость не связана с виноградом, мое опьянение не от вина...

Может быть, для нас в мире не осталось больше надежды и мы обречены – обречены все без исключения, если так, то соединим же

232

наши усилия в последний вопль агонии, вопль, наводящий ужас, вопль – оглушительный визг протesta, исступленный крик последней атаки. К черту скорбные и погребальные песнопения! Долой жизнеописания и историю, музеи и библиотеки! Пусть мертвые пожирают мертвых. И пусть живые несутся в танце по краю кратера – это их последняя предсмертная пляска. Но – пляска!

"*Я* люблю все, что течет", – сказал великий слепой Мильтон нашего времени. Я думал о нем сегодня утром, когда проснулся с громким радостным воплем; я думал о его реках и деревьях, и обо всем том ночном мире, который он исследовал. Да, сказал я себе, я тоже люблю все, что течет: реки, сточную канаву, лаву, сперму, кровь, желчь, слова, фразы. Я люблю воды, льющиеся из плодного пузыря. Я люблю почки с их камнями, песком и прочими удовольствиями; люблю обжигающую струю мочи и бесконечно текущий триппер;

люблю слова, выкрикнутые в истерике, и фразы, которые текут, точно дизентерия, и отражают все больные образы души; я люблю великие реки, такие, как Амазонка и Ориноко, по которым безумцы вроде Мораважина плывут сквозь мечту и легенду в открытой лодке и тонут в слепом устье. Я люблю все, что течет, – даже менструальную кровь, вымыва-

233

ющую бесплодное семя. Я люблю рукописи, которые текут, независимо от их содержания – священного, эзотерического, извращенного, многообразного или одностороннего. Я люблю все, что течет, все, что заключает в себе время и преображение, что возвращает нас к началу, которое никогда не кончается: неистовство пророков, непристойность, в которой торжествует экстаз, мудрость фанатика, священника с его резиновой литанией, похабные слова шлюхи, плевок, который уносит сточная вода, материнское молоко и горький мед матки – все, что течет, тает, растворяется или растворяет; я люблю весь этот гной и грязь, текущие, очищающиеся и забывающие свою природу на этом длинном пути к смерти и разложению. Мое желание плыть беспредельно – плыть и плыть, соединившись со временем, смешав великий образ потустороннего с сегодняшним днем. Дурацкое, самоубийственное желание, остановленное запором слов и параличом мысли.

13

Рождественским утром, едва забрезжил рассвет, мы вернулись с улицы Одессы, прихватив с собой двух негритянок из телефонной компании. Мы так устали, что сразу, не

234

раздеваясь, повалились в постель. Моя партнерша, которая весь вечер вела себя точно дикий леопард, заснула, пока я пытался ее оседлать. Некоторое время я бился над ней, как над утопленником, вытащенным из воды. Потом плонул и тоже заснул.

Все праздники мы пили шампанское – утром, днем и вечером; самое дешевое и самое лучшее шампанское. После Нового года я должен был ехать в Дижон, где мне предложили мелкую должность преподавателя английского языка в рамках одного из так называемых франко-американских "обменов", которые, по мысли их организаторов, должны углублять союз в взаимопонимание между дружественными странами. Филмор был доволен больше, чем я, и не без причины. Для меня же это было перемещение из одного чистилища в другое. У меня не было никакого будущего; к тому же должность не предполагала жалованья. Считалось, что я буду удовлетворен возможностью служить делу франко-американской дружбы. Это было место для богатого маменькиного сыночка.

Всю дорогу до Дижона я думал о своем прошлом. Я думал о словах, которые мог бы сказать, но не сказал, о поступках, которые мог бы совершить, но не совершил в те горькие

235

тяжелые минуты, когда я, как червяк, извивался под ногами чужих мне людей, прося корку хлеба. Я был трезв как стеклышко, но чувство горечи от прошлых обид и унижений не покидало меня.

В своей жизни я много бродяжничал, и не только по Америке, заглядывал и в Канаду, и в Мексику. Везде было одно и то же. Хочешь есть – напрягайся и маршируй в ногу. Весь мир – это серая пустыня, ковер из стали и цемента. Весь мир занят производством. Не важно, что он производит – болты и гайки, колючую проволоку или бисквиты для собак, газонокосилки или подшипники, взрывчатку или танки, отправляющие газы или мыло, зубную пасту или газеты, образование или церкви, библиотеки или музеи. Главное – вперед! Время поджимает. Плод проталкивается через шейку матки, и нет ничего, что могло бы облегчить его выход. Сухое, удушающее рождение. Ни крика, ни писка. *Salut au monde!*¹ Салют из двадцати одного заднепроходного орудия. "Я ношу шляпу, как это мне нравится, – дома и на улице", – сказал Уолт. Это говорилось еще в те времена, когда можно было найти шляпу по

¹ Привет миру! (франц.) – поэма Уолта Уитмена.

236

размеру. Но время идет. Для того чтобы найти шляпу по размеру сегодня, надо идти на электрический стул. Там вам наденут железный колпак на бритую голову. Немного тесновато? Неважно. Зато сидит крепко.

Надо жить в чужой стране, такой, как Франция, и ходить по меридиану, отделяющему полуширье жизни от полуширья смерти, чтобы понять, какие беспредельные горизонты простираются перед нами.

Электрическое тело! Демократическая душа! Наводнение! Матерь Господня, что же означает вся эта ерунда? Земля засохла и потрескалась. Мужчины и женщины слегаются, точно стаи ворон над вонючим трупом, спариваются и снова разлетаются. Коршуны падают с неба, точно тяжелые камни. Клювы и когти – вот что мы такое. Большой пищеварительный аппарат, снабженный насосом, чтобы вынюхивать падаль. *Вперед!* Вперед без сожаления, без сострадания, без любви, без прощения. Не проси пощады и сам никого не щади. Твое дело – производить. Больше военных кораблей, больше ядовитых газов, больше взрывчатки! Больше гонококков! Больше стрептококков! Больше бомбящих машин! Больше и больше, пока вся эта ебаная музыка не разлетится на куски – и сама Земля вместе с нею!

237

Сойдя с поезда, я тут же понял, что совершил роковую ошибку.

Первый же взгляд, брошенный на лицей, заставил меня содрогнуться. Некоторое время я в нерешительности стоял у ворот, размышляя, идти мне дальше или повернуть назад. Но денег на обратный билет у меня не было, так что вопрос носил чисто академический характер.

Отведенная мне комната была довольно большой, с маленькой печуркой в углу. От печурки шла труба, изгибавшаяся под прямым углом как раз над железной койкой. Возле двери стоял огромный ларь для угля и дров.

Оказалось, что обедать еще рано, и я повалился на кровать прямо в пальто, а сверху натянул одеяло. Возле меня стояла неизменная шаткая тумбочка с ночным горшком. Я поставил на стол будильник и стал следить за движением стрелок. Печурка раскалилась докрасна, но теплее от этого не стало. Я начал бояться, что засну и пропущу обед. Тогда придется ворочаться всю ночь с пустым животом.

За несколько секунд до гонга я вскочил с кровати и, заприв дверь, бросился во двор. Там я сразу заблудился. Четырехугольные здания и лестницы походили друг на друга, как две капли воды. Вдруг я заметил энергичного человека в котелке, шедшего мне на-

238

встречу. Я остановил его и спросил, как пройти в столовую. Оказалось, что он-то мне и нужен. Это был сам господин Директор. Узнав, кто я, он просиял и осведомился, хорошо ли я устроен в не нуждаюсь ли в чем-нибудь. Я ответил, что все в порядке. Правда, в комнате несколько прохладнее, чем хотелось бы, осмелился я добавить. Господин Директор заверил меня, что для Дижона это весьма необычная погода. Иногда бывают туманы и снегопад – тогда действительно лучше какое-то время не выходить и т.д. и т.п.

Говоря все это, он поддерживал меня под локоток, и мы шли по направлению к столовой. Господин Директор мне сразу понравился. "Славный парень", – думал я. Я даже предположил, что мы можем подружиться и он в холодные вечера будет приглашать меня к себе на стакан грата. Множество приятных мыслей пришло мне в голову по дороге к дверям столовой. Тут господин Директор внезапно приподнял котелок, пожал мне руку и, пожелав всего доброго, удалился. Я так растерялся, что тоже приподнял шляпу.

Но так или иначе, я нашел столовую. Она была похожа на ист-сайдскую больницу – белые кафельные стены, лампочки без абажуров, мраморные столы и, конечно, огромная печь с причудливо изогнутой трубой. Обед еще не подали. В углу толпилась куча моло-

239

дых людей, о чем-то оживленно разговаривающих. Я подошел к ним и представился. Они приняли меня чрезвычайно радушно, даже слишком радушно, как мне показалось. Я не мог понять, что это значит. В столовую входили все новые и новые люди, и меня передавали все дальше и дальше, представляя вновь пришедшем. Вдруг они окружили меня тесным кольцом, наполнили стаканы и запели:

Однажды вечером – извилист мысли путь!

– Пришла идея: висельнику вдуть.

Клянусь Цирцеей – тяжкая езда:

Повешенный качается, мудак,

Пришлось ебать его, подпрыгивая в такт.

Клянусь Цирцеей – вечно все не так!

Ебаться в узкое подобие пизды –

Клянусь Цирцеей – хрен сотрешь до дыр.

Ебать же непомерную лохань

– Он скачет в закоулках, как блоха!

Дрочить вручную – нудная труха...

Клянусь Цирцеей, вечно жизнь плоха.

¹ Перевод с французского К-К.Кузьминского.

240

Эти надзиратели оказались веселыми ребятами. Один из них, по имени Кроа, рыгал, как свинья, и всегда громко пукал, садясь за стол. Он мог пукнуть тринадцать раз подряд, что, по словам его друзей, было местным рекордом. Другой, крепыш по прозвищу Господин Принц, был известен тем, что по вечерам, отправляясь в город, надевал смокинг. У него был прекрасный, как у девушки, цвет лица, он не пил вина и никогда ничего не читал. Рядом с ним сидел Маленький Поль, который не мог думать ни о чем, кроме девочек; каждый день он повторял: "С пятницы я больше не говорю о женщинах". Он и Принц были неразлучны. Был еще Пасселло, настоящий молодой прохвост, который изучал медицину и брал взаймы у всех подряд. Он без остановки говорил о Ронсаре, Вийоне и Рабле. Напротив меня сидел Моллес. Он всегда заставлял заново взвешивать мясо, которое нам подавали, проверяя, не обжуливают ли его на несколько граммов. Он занимал маленькую комнатку в лазарете. Его злейшим врагом был господин Заведующий Хозяйством, что, впрочем, никак не отличало его от остальных. Господина Заведующего ненавидели все. Моллес дружил с Мозгляком. Это был человек с мрачным ли-

241

цом и ястребиным профилем; он берег каждый грош и давал деньги под проценты. Мне он напоминал гравюру Дюрера – соединение всех мрачных, кислых, унылых, злобных, несчастных, невезучих и самоуглубленных дьяволов, составляющих пантеон немецких средневековых рыцарей.

После обеда все они сразу же отправлялись в город. В лицее оставались только дежурные по спальням. В центре города было множество кафе, пустых и скучных, где сонные дижонские лавочники собирались поиграть в карты и послушать музыку. Лучшее, что можно сказать об этих кафе, – в них отличные печки и удобные стулья. Незанятые проститутки за стакан пива или чашку кофе охотно подсаживались к вашему столику поболтать. Но музыка была чудовищная. В зимний вечер в такой грязной дыре, как Дижон, нет ничего хуже, чем звуки французского оркестрика. Особенно если это один из унылых женских ансамблей. Они не столько играли, сколько скрипели и пукали, но делали это в сухом алгебраическом ритме и так монотонно, точно выдавливали зубную пасту из тюбика. Отсипеть и отскрипеть за сколько-то франков в час – и

242

к черту остальное! Грустно все это! Так же грустно, как если бы старик Евклид глотнул синильной кислоты. Царство Идеи нынче настолько задавлено разумом, что в мире ничто уже не способно породить музыку, ничто, кроме пустых мехов аккордеона, из которых со свистом вырываются звуки, раздирающие эфир в клочья. Говорить о музыке в Дижоне – все равно что мечтать о шампанском в камере смертников. Нет, к здешней музыке я был равнодушен. Более того, я даже перестал думать о женщинах – настолько все здесь было мрачно, холодно, серо, безрадостно и безнадежно.

У меня была масса времени и ни гроша в кармане. Два-три часа в день я должен был вести уроки разговорного английского – вот и все. А зачем этим беднягам английский язык? Мне было их жаль до слез.

Я начал с урока, посвященного физиологии любви. Рассказывал о том, как происходит половой акт у слонов!. Мои слушатели были ошеломлены. После первого урока английского ученики толпились у дверей, поджиная меня. Мы великолепно поладили. Они задавали мне самые разнообразные вопросы, точно только вчера родились, а я не просто не воз-

243

ражал, но даже приучал их задавать мне самые щекотливые вопросы. *Спрашивайте что хотите!* – таков был мой лозунг. Я здесь полномочный представитель царства свободного духа. Я здесь, чтобы пробудить ваше воображение. "В известном смысле, – сказал один знаменитый астроном, – материальная вселенная как бы исчезает, подобно уже рассказанной истории, рассеивается, подобно видению". Вот это общее мнение и есть основа того, что называется образованием. Но я этому не верю. Я вообще не верю тому, чем эти сукины дети норовят нас накормить.

Между уроками, если мне нечего было читать, я поднимался наверх поболтать с классными наставниками. Эти люди были полными, абсолютными невеждами – особенно в области искусства. Они были почти так же невежественны, как их ученики. Мне казалось, что я попал в маленький частный сумасшедший дом, откуда нет выхода.

Бродя по двору с пустым брюхом, я начинал чувствовать себя слегка помешанным. Как несчастный Карл Безумный, только у меня не было Одетт Шандивер, с которой я мог бы сыграть в подкидного. Я должен был стрелять сигареты у лицеистов и частенько жевал черствый хлеб на уроках. Моя печка все время

244

гасла, и скоро у меня не осталось щепок для растопки.

Чувство бесконечной бессмыслицы охватывало меня всякий раз, когда я подходил к воротам лицея. Снаружи он выглядел мрачным и заброшенным, внутри – заброшенным и мрачным. Сам воздух, казалось, был пропитан грязной бесплодностью, туманом книжных наук. Шлак и пепел прошлого.

Через неделю после приезда мне уже казалось, что я здесь всю жизнь. Это был какой-то липкий, назойливый, вонючий кошмар, от которого невозможно отделаться. Думая о том, что меня ждет, я приходил в полуобморочное состояние.

От тумана и снега, от этих холодных широт, от напряженных занятий, от синего кофе и хлеба без масла, от супа из чечевицы, от бобов со свиным салом, от засохшего сыра, недоваренной похлебки и мерзкого вина все обитатели этой каторжной тюрьмы страдают запорами. И именно тогда, когда мы начинаем лопаться от дермы, замерзают сортирные трубы. Кучи дермы растут, как муравейники, и от холода превращаются в камень. По четвергам приходит горбун с тачкой, скребком и

245

щеткой и, волоча ногу, убирает эти замерзшие пирамидки. В коридорах повсюду валяется туалетная бумага, она прилипает к подошвам, как клейкая лента для мух. Когда на улице теплеет, запах дермы становится особенно острым. Утром мы стоим над этим спелым дермом с зубными щетками в руках, и от нестерпимого смрада кружится голова. Мы стоим вокруг в красных фланелевых рубахах и ждем своей очереди, чтобы сплюнуть в дыру;

похоже на знаменитый хор с наковальней из "Трубадура", только в подтяжках. Ночью, когда у меня схватывает живот, я бегу вниз в сортир господина Инспектора, около въезда во двор. Мой сортир не работает, а стульчик всегда испачкан кровью. Сортир господина Инспектора тоже не работает, но там можно хоть сесть.

Я слышу, как по коридору бегают крысы, как они грызут что-то над моей головой между деревянными балками. Лампочка горит зеленовато-желтым светом, и в комнате, которая никогда не проветривается, – сладковатый тошнотворный запах.

Я – один с моим огромным пустым страхом и тоской. И со своими мыслями. В этой комнате нет никого, кроме меня, и ничего, кроме моих мыслей и моих страхов. Я могу думать

246

здесь о самых диких вещах, могу плясать, плеваться, гримасничать, ругаться, выть – никто не узнает об этом, и никто не услышит меня. Мысль, что я абсолютно один, сводит меня с ума. Это как роды. Все обрезано. Все отделено, вымыто, зачищено; одиночество и нагота. Благословение и агония. Масса пустого времени. Каждая секунда наваливается на вас, как гора. Вы тонете в ней. Пустыни, моря, озера, океаны. Время бьет, как топор мясника. Ничто. Мир. Я и не-я. *Уманхарумума*. У всего должно быть имя. Все надо выучить, попробовать, пережить.

В коей памяти возникают все женщины, которых я знал. Это как цепь, которую я выковал из своего страдания. Каждая соединена с другой. Страх одиночества, страх быть рожденным. Дверца матки всегда распахнута. Страх и стремление куда-то. Это в крови у нас – тоска по раю. Тоска по иррациональному. Всегда по иррациональному. Наверное, это все начинается с пупка. Перерезают пуповину, дают шлепок по заднице, и – готово! – вы уже в этом мире, плывете по течению, корабль без руля. Вы смотрите на звезды, а потом на свой собственный пуп. У вас везде вырастают глаза – под мышками, во рту, в волосах, на пятках. И далекое становится близким, а близкое –

247

далеким. Постоянное движение, выворачивание наизнанку, линька. Вас крутит в болтает долгие годы, пока вы не попадете в мертвый, неподвижный центр, и тут вы начинаете медленно гнить, разваливаться на части. Все, что от вас остается, – это имя.

14

Только весной мне удалось наконец вырваться из этой каторжной тюрьмы и только благодаря счастливому обстоятельству. Карл написал мне, что в газете освободилось место "на верхнем этаже" и что, если я хочу получить эту работу, он пришлет мне деньги на проезд. Я немедленно телеграфировал Карлу и,

как только получил деньги, помчался на вокзал, не сказав ни слова господину Директору и всем прочим. Я просто исчез.

Приехав, я тут же направился в гостиницу к Карлу. Он открыл мне дверь совершенно голый. В постели, как всегда, лежала женщина. "Не обращай внимания, – сказал он. – Она спит. Если тебе нужна баба, ложись с ней. Она недурна". Он откинул одеяло, чтобы я мог ее увидеть. Однако в этот момент меня занимало другое. Я был очень возбужден, как всякий

248

человек, только что сбежавший из тюрьмы, и мне хотелось все видеть и все слышать. Дорога от вокзала теперь казалась мне длинным сном, а мое отсутствие – несколькими годами жизни.

Только сев и как следует осмотрев комнату, я наконец понял, что снова в Париже. Сомневаться не приходилось – это была комната Карла, похожая на смесь бельчей клетки и сортира. На столе еле умещалась даже портативная пишущая машинка, на которой он печатал свои статьи. У него так всегда, независимо от того, один он или с бабой. Открытый словарь всегда лежал на "Фаусте" с золотым обрезом, тут же – кисет с табаком, берет, бутылка красного вина, письма, рукописи, старые газеты, акварельные краски, чайник, зубочистки, английская соль, грязные носки, презервативы и т.п. В биде валялись апельсиновые корки и остатки бутерброда с ветчиной.

– В шкафу есть какая-то еда, – сказал Карл. – Закуси. А я займусь профилактикой.

Я нашел бутерброд и обгрызенный кусок сыра. Пока я уписывал бутерброд и сыр, запивая их красным вином, Карл сел на кровать и вкатил себе здоровую дозу аргирола.

249

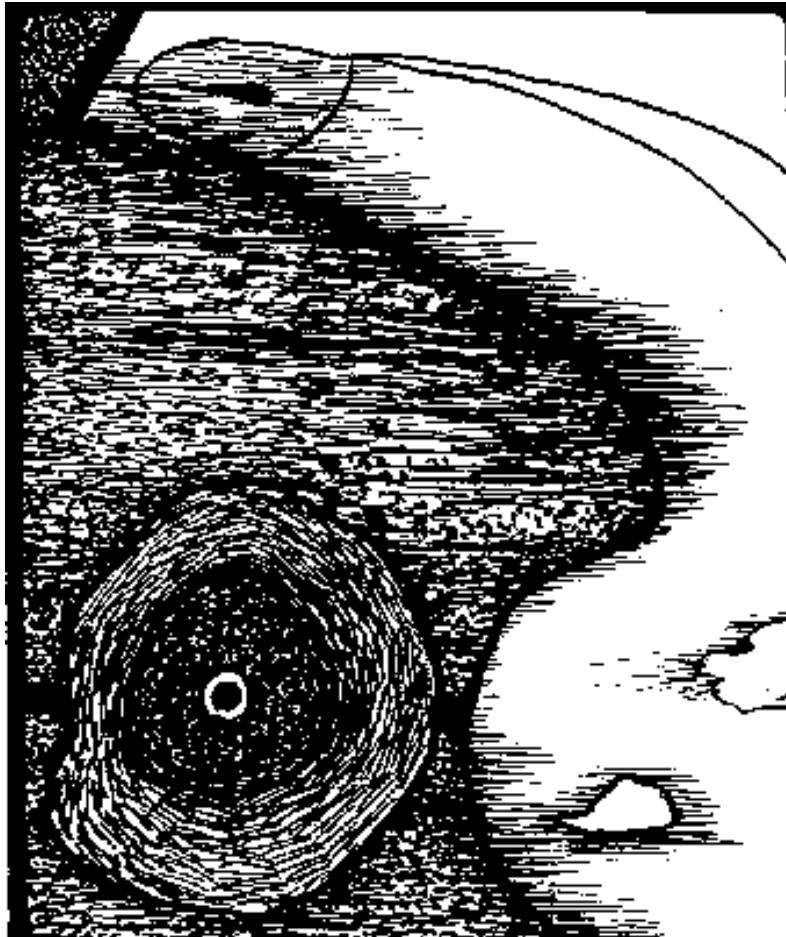
– Мне понравилось твое письмо о Гете, – сказал он, вытираясь грязными подштанниками. – Я сейчас покажу тебе ответ – я вставляю его в свою книгу. Плохо, что ты не немец. Чтобы понять Гете, надо быть немцем. Я сейчас не буду тебе это объяснять. Я обо всем этом напишу в своей книге... Между прочим, у меня новая девица – не эта, эта полуумная, – по крайней мере была до прошлой недели. Не знаю, вернется она или нет. Она жила здесь все время, пока ты был в отъезде. Потом нагрянули родители и забрали ее с собой. Они сказали, что ей всего пятнадцать. Представляешь себе? Я чуть в штаны не наложил...

Я начал смеяться. Это очень похоже на Карла – вляпаться в такую историю.

– Чего ты смеешься? Меня могут посадить в тюрьму. К счастью, я ее не зарядил. И это странно, потому что она никогда не предохранялась. Ты знаешь, что меня спасло? По крайней мере я так думаю. "Фауст"! Не смеялся. Папаша заметил его на столе. Он спросил меня, читают ли я по-немецки. Потом начал просматривать остальные книги. К счастью. Шекспир был тоже открыт. Это произвело на него грандиозное впечатление. Он сказал, что, по его мнению, я – серьезный парень.

– А сама девчонка? Она-то что сказала?

250



– Она перепугалась насмерть. Понимаешь ли, когда она переехала ко мне, у нее были небольшие часики; во всей этой суматохе мы не могли их найти, и мать стала кричать, что, если я не найду часов, она вызовет полицию. Ты видишь, что у меня тут делается! Я перерыл все сверху донизу и не мог найти этих проклятых часов. Ее мать совсем взбесилась. Но мне она понравилась, несмотря ни на что. Она красивее дочери. Погоди, я покажу тебе письмо, которое я начал ей писать... Я влюблен в нее...

– В матерь?

– Конечно. Почему нет? Если бы я сперва увидел мать, я бы даже не посмотрел на дочь. И откуда мне было знать, что ей всего пятнадцать? В постели как-то не приходит в голову спрашивать у бабы, сколько ей лет.

– Послушай, Джо, тут что-то не так. Ты случайно не пиздишь?

– Я?! А вот посмотри-ка! – И он показал мне акварели этой девчонки – забавные рисунки:

нож и батон, чайник и стол, все – в обратной перспективе. – Она влюбилась в меня, – сказал Карл. – Вообще она совсем ребенок. Я напоминал ей, когда надо чистить зубы, и показывал, как носить шляпу. Посмотри – леденцы на па-

252

лочках! Я покупал ей леденцы каждый день – она их любит.

– Что же она сделала, когда пришли родители? Подняла крик?

– Всплакнула немножко, и все. Что она могла сделать? Она ведь несовершеннолетняя... Пришлось пообещать, что я никогда ее больше не увижу и не буду ей писать. И вот теперь меня очень интересует, вернется ли она. Ведь когда мы встретились, она была девушкой. Любопытно, сколько она сможет вытерпеть без мужчины. Она сходила с ума по этому делу. Заездила меня чуть не до смерти.

В это время проститутка проснулась и стала спросонья тереть глаза. Она тоже показалась мне очень молоденькой. К тому же она была довольно хорошенечкая, но глупая как пробка. Она тут же захотела узнать, о чем мы говорим.

– Слушай, она живет здесь же, на третьем этаже, – сказал Карл. – Хочешь пойти к ней? Я это тебе устрою.

Я не знал, хочу ли я идти с этой девицей или нет, но когда Карл снова взялся за нее, я решил, что хочу, и поинтересовался, не устала ли она. Глупый вопрос. Шлюха никогда не устает. Некоторые из них засыпают, пока вы над ними трудитесь. Как бы то ни было, решили,

253

что я пойду к ней. Таким образом, и за ночлег не придется платить.

Утром я снял номер, выходящий в маленький парк, куда приходили завтракать расклейщики плакатов. В полдень я зашел за Карлом, чтобы пойти с ним перекусить. Пока меня не было, он и ван Норден завели новое правило – ходили завтракать в "Куполь".

– Почему в "Куполь"? – спросил я.

– Почему в "Куполь"? – повторил Карл. – Потому что там каждый день подают овсянку, а от нее хорошо работает желудок.

– Понятно.

С тех пор все идет по-прежнему. Карл, ван Норден и я ходим вместе на работу и с работы. Мелкие дрязги, мелкие интриги. Ван Норден все еще поет свою песню насчет б..дей и необходимости вычистить грязь изнутри. Только сейчас он нашел себе новое занятие. Он понял, что мастурбировать гораздо проще, чем бегать за шлюхами, я очень удивился, когда он мне об этом сказал. Вот уж никогда бы не подумал, что такой человек, как ван Норден, может получать удовольствие от мастурбации. Еще больше я удивился, узнав, как именно он это делает. По его словам, он изобрел новый способ. "Ты берешь яблоко, – сказал он, – прорезаешь посередине дыру и смазыва-

254

ешь ее кольдкремом. Попробуй как-нибудь. Сначала можно просто спятить. Но, что ни говори, а это и дешево, и времени не теряешь".

"Между прочим, – продолжал он, перескакивая на новую тему, – твой приятель Филмор в больнице. Помоему, он сошел с ума. По крайней мере так мне сказала его девка. Пока тебя тут не было, он связался с француженкой. Они все время скандалили. Она здоровая, огромная бабища, притом довольно дикая. Я с удовольствием подъехал бы к ней, да ведь без глаз можно остаться. У Филмора все время руки и морда были исцарапаны. Да и у нее вид часто помятый. Ты знаешь этих французских бледней – когда они влюбляются, им нет удержу".

Да, в мое отсутствие здесь явно произошли некоторые перемены. Мне было жалко Филмора. Он сделал для меня много хорошего. Оставив ван Нордена, я сел в автобус и поехал прямо в больницу.

Врачи еще не решили, окончательно ли Филмор сошел с рельсов или нет. Во всяком случае, я нашел его наверху в отдельной палате и, по-видимому, без особенного надзора. Когда я пришел, он только что вылез из ванны. Увидев меня, он начал плакать.

255

– Все кончено! – заявил он тут же. – Они говорят, что я сумасшедший и у меня, может быть, даже сифилис. И мания величия. – Он повалился на кровать и безмолвно рыдал некоторое время. Потом вдруг поднял голову и улыбнулся, как просыпающаяся птица. – Почему они поместили меня в такую дорогую палату? – спросил он. – Почему они не положили меня в общую палату или в сумасшедший дом? Мне нечем платить за все это. У меня осталось только пятьсот долларов.

– Вот потому-то они и держат тебя здесь, – сказал я. – Когда у тебя кончатся деньги, ты тут же отсюда вылетишь.

Мои слова произвели на Филмора впечатление. Не успел я договорить, как он отдал мне свои часы с цепочкой, булавку для галстука, бумажник и проч.

– Подержи у себя, – сказал он. – А то эти сволочи меня обчистят. – Тут он засмеялся странным, невеселым смехом, каким редко смеются нормальные люди. – Я знаю, ты думаешь, что я сошел с ума, – сказал Филмор. – Но я хочу загладить свою вину. Я хочу жениться. Ты понимаешь, я не знал, что у меня триппер. Я заразил ее, к тому же она беременна от меня. Мне безразлично, что со мной будет, но я хочу на ней жениться. Я так и сказал доктору, а он

256

говорит, чтобы я подождал с женитьбой, пока не поправлюсь. Но я никогда не поправлюсь. Я знаю. Это конец.

Слушая его, я не мог удержаться от смеха. Мне было непонятно, что с ним случилось. Но, так или иначе, я обещал Филмору навестить его девушку и все ей объяснить. Он просил меня присмотреть за ней, помочь чем можно. Сказал, что полностью на меня полагается и т.д. и т.п. Чтобы успокоить его, я обещал все. Вообще говоря, он не показался мне таким уж сумасшедшим, просто слегка свихнувшимся. Обычная англосаксонская болезнь – острый приступ угрызений совести. Но мне было интересно познакомиться с женщиной, на которой он собирался жениться, да и вообще узнать всю подноготную этого дела.

На следующий день я нашел ее. Она жила в Латинском квартале. Узнав, кто я, она сразу же стала очень приветливой и дружелюбной. Ее звали Жинетт. Это была крупная, пышущая здоровьем девка крестьянского типа с полуусыпленными передними зубами. Жизнь была в ней ключом, а в глазах горел странный сумасшедший огонь. Прежде всего она начала плакать. Но как только выяснилось, что я близкий приятель ее Жо-Жо (так она называла Филмора), она бросилась вниз, принесла

257

две бутылки белого вина и потребовала, чтобы я остался с ней обедать. Вино делало ее то веселой, то сентиментальной. Мне не надо было задавать ей никаких вопросов – она говорила без умолку. Больше всего ее интересовало, получит ли Филмор опять свое место, когда выйдет из больницы. Жинетт рассказала мне, что ее родители – люди состоятельные, но она с ними не в ладах. Им не нравился ее образ жизни. Не нравился им и Филмор – плохо воспитан, к тому же американец. Жинетт хотела, чтобы я заверил ее, что Филмор обязательно вернется работать на прежнее место. Я сделал это не задумываясь. Потом она спросила, можно ли верить Филмору, его словам, его обещанию жениться на ней? Дело в том, что с ребенком в пузе да к тому же с триппером у нее не было шансов найти себе другого мужа, особенно француза. Понимаю ли я это? Я сказал, что, конечно, понимаю. Вообще мне все было абсолютно понятно, кроме одного – каким образом Филмор мог так вляпаться. Однако не буду забегать вперед. Моя задача состояла в том, чтобы успокоить Жинетт, и я постарался это сделать наилучшим образом – сказал, что все, мол, обойдется, что я буду крестным отцом ее ребенка и т.д и т.п. Мне показалось очень странным, что она хочет рожать, – ведь

258

ребенок мог родиться слепым. Я деликатно намекнул ей на это.

– Мне безразлично, – сказала она. – Я хочу иметь ребенка от Жо-Жо.

– Даже слепого?

– Боже мой, не говорите этого, – заплакала она. – Не говорите этого!

Тем не менее я должен был сказать ей правду. Она начала реветь как белуга и схватилась за рюмку. Но через несколько минут уже громко смеялась, рассказывая, как они с Филмором дрались в постели. "Ему нравилось, когда я дралась с ним, – заявила Жинетт. – Он настоящий дикарь".

Едва мы уселись обедать, как зашла подруга Жинетт – маленькая потаскунка, которая жила в конце коридора. Жинетт немедленно отправила меня за новой бутылкой. Пока я ходил, они, вероятно, успели все обсудить. Подруга, которую звали Иветт, работала в полиции. Полицейская мелочь, насколько я мог понять. Во всяком случае, она намекала на свою осведомленность. Я сразу понял, что на самом деле она просто шлюха. Но у нее была страсть к полиции и разговорам на полицейские темы. Во время обеда обе женщины уговаривали меня пойти с ними в "Баль мюзет". Им хотелось развлечься и потанцевать – Жи-

259

нетт чувствовала себя так одиноко, пока ее Жо-Жо был в больнице. Но я отказался, сказав, что мне надо на работу, и пообещал им в следующий свободный вечер сводить их на танцы. Конечно, я без стеснения объявил им, что у меня нет денег. Жинетт, которую мои слова поразили как гром среди ясного неба, тем не менее заявила, что для нее это не важно. И чтоб доказать свое великолудие, даже предложила отвезти меня на работу в такси. Ведь я друг ее Жо-Жо, а значит, и ее друг. "Друг... – подумал я про себя. – Если что-нибудь случится с твоим Жо-Жо, ты немедленно прибежишь ко мне. Вот тогда ты узнаешь, каким я бываю другом!" Я был с нею невероятно любезен. Когда мы подъехали к редакции, Иветт и Жинетт уговарили меня выпить напоследок по рюмке перно. Я не слишком сопротивлялся. Иветт спросила, нельзя ли заехать за мной после работы, – по ее словам, ей о многом хотелось со мной поговорить наедине. Я не сумел отвертеться так, чтобы не обидеть ее, но, к сожалению, размяк и дал ей свой адрес.

Я говорю "к сожалению". Но теперь я рад, что все так получилось. Потому что уже на следующий день произошли новые события. Утром, когда я еще не встал, обе женщины

260

заявились ко мне. Жо-Жо перевели из больницы в небольшой замок в нескольких милях от Парижа. Они говорили "замок", но на самом деле это была психиатрическая лечебница. Они хотели, чтобы я немедленно оделся и ехал с ними. Обе были в панике.

Один я, может, и поехал бы, но ехать туда с ними – на это я не мог решиться. Чтобы оттянуть время и придумать какой-нибудь благовидный предлог, я попросил их подождать меня внизу. Но обе женщины отказались выйти из комнаты и, будто это было обычное дело, смотрели, как я моюсь и одеваюсь. Тут пришел Карл. Я, перейдя на английский, быстро посвятил его в происходящее, и мы отговорились, заявив, что у меня срочная работа. Все-таки, чтоб как-то замазать неловкость, мы сбегали за вином и стали показывать Ивett и Жинетт альбом с порнографическими рисунками. К этому времени у Ивett пропало всякое желание ехать в "замок". Они с Карлом быстро снохались. Когда пришло время ехать, Карл вызвался сопровождать женщин. Ему хотелось посмотреть на Филмора среди сумасшедших, а заодно увидеть, как такие заведения выглядят изнутри. В общем, они отправились втроем, слегка под хмельком и в самом лучшем расположении духа.

261

За все время, что Филмор сидел в "замке", я не съездил к нему ни разу. Этого и не требовалось. Жинетт навещала его регулярно и давала мне подробный отчет. По ее словам, врачи не сомневались, что он придет в норму через несколько месяцев. Они считали, что у него было алкогольное отравление. Конечно, был и триппер, но с ним они надеялись легко справиться; сифилиса, по всем признакам, у него не оказалось. Это было уже хорошо. Для начала врачи промыли Филмору желудок и основательно прочистили весь организм. Они всерьез занялись его психикой, а попутно выдергивали зуб за зубом, пока он не остался без зубов вообще. Врачи были убеждены, что после этого пациент должен чувствовать себя гораздо лучше, но, как ни странно, улучшения не последовало. Напротив, он пришел в еще большее уныние. У него начали выпадать волосы. И в конце концов обнаружилась склонность к паранойе – он обвинял докторов во всех смертных грехах и спрашивал, на каком основании его держат в сумасшедшем доме. После приступов уныния Филмор вдруг становился чрезвычайно энергичен и грозил взорвать "замок", если его оттуда не выпустят. Но самым скверным для Жинетт было то, что

262

он совершенно излечился от намерения жениться.

Доктора сочли это хорошим признаком. Они были уверены, что Филмор выздоравливает. Жинетт, естественно, считала, что он совсем спятил, но тем не менее мечтала, чтобы его наконец выпустили и она могла бы увезти его в деревню – она полагала, что тишина и покой благотворно скажутся на его здоровье. Между тем родители Жинетт приехали в Париж навестить дочь и даже съездили в "замок" с визитом к будущему зятю. Со своей французской расчетливостью они решили, что их дочери лучше выйти замуж за сумасшедшего, чем вообще остаться без мужа.

Все, казалось бы, шло как по маслу. Жинетт уехала на время в деревню. Ивett часто приходила в гостиницу к Карлу. Она думала, что он редактор газеты, и постепенно язык ее развязывался все больше и больше. Однажды, упившись в стельку, она объявила нам, что Жинетт – это просто б..., что она пиявка, присасывающаяся к деньгам, и что она никогда не беременеет, а сейчас просто симулирует беременность. По первым двум пунктам у нас с Карлом не было никаких сомнений, но последнее утверждение нас слегка удивило.

263

– Тогда откуда же у нее такой живот? – спросил Карл.

Ивett прыснула.

– Может, она надувает его велосипедным насосом. Нет, кроме шуток, живот у нее от пьянства – Она пьет как сапожник, эта ваша Жинетт. Вы увидите, из деревни она приедет еще больше раздутая. Ее отец – запойный пьяница. Жинетт тоже. Может, триппер у нее и есть, не знаю, но насчет беременности – это все чушь!

– Зачем же тогда она хочет выйти замуж за Филмора? Влюбилась она в него, что ли?

– Влюбилась?! Ха-ха! Она не может влюбиться – у нее нет сердца. Просто она хочет кого-нибудь подцепить. Ни один француз на ней не женится, потому что ею давно интересуется полиция, а ваш идиот Филмор даже не навел о ней справки. Вот она и решила его охомутать. Родителей она опозорила, так что они знать ее не хотели. Но если она выйдет замуж за богатого американца, тогда все будет шито-крыто... Вы что, на самом деле думаете, он ей нравится? Да вы просто ее не знаете. Когда они жили вместе в гостинице, она водила к себе мужиков, пока он был на работе, и рассказывала, что ваш Филмор не дает ей даже карманных денег, что он скряга. Этот мех,

264

который вы на ней видели... она сказала Филмору, что ей родители подарили. Ну так вот, он просто кретин, ваш Филмор! Я видела, как она приводила мужчину в гостиницу. Она снимала для этого номер этажом ниже. Собственными глазами видела. А какого мужчина! Песок сыплется. У него так и не встал!

Если бы Филмор приехал в Париж после выписки из "замка", я бы, пожалуй, предупредил его. Но пока он был болен, я не хотел отравлять ему жизнь сплетнями Ивett. А после выписки он уехал в деревню к родителям Жинетт, и они сразу взяли его в оборот. Состоялась помолвка, в местных газетах напечатали официальное объявление о предстоящем бракосочетании. Для друзей и знакомых был дан большой прием. Но Филмор пользовался своим положением сумасшедшего и выкидывал всякие штуки. Он, например, мог взять машину своего будущего тестя и просто так гонять по дорогам. Если ему нравился какой-нибудь городок, он останавливался там и жил в свое удовольствие, пока Жинетт его не разыскивала и не увозила

домой. Иногда он уезжал вместе с будущим тестем якобы на рыбалку, и они пропадали по нескольку дней.

Филмор стал капризным и раздражительным и вел себя как испорченный ребенок. Очевид-

265

но, он решил выжать из своего положения все, что только можно.

В Париж Филмор вернулся с новым гардеробом и с полными карманами денег. В деревне он загорел и выглядел теперь здоровым, веселым и совершенно нормальным. Спровадив куда-то Жинетт, он открыл нам душу. Его работа, конечно, пропала, а деньги кончились. Через месяц он должен был жениться, а пока родители Жинетт снабжали его деньгами. "Когда я по-настоящему попаду им в лапы, — сказал он, — я превращусь в их батрака. Ее отец собирается купить для меня писчебумажный магазин. Жинетт будет принимать покупателей, получать деньги, а я буду сидеть в задней комнате и писать или что-то в этом роде. Вы можете себе представить, чтобы я просидел в задней комнате писчебумажного магазина до конца своих дней? Жинетт уверена, что это блестящий план. Ей нравится считать деньги. Но тогда лучше уж я вернусь в "замок".

Между тем при Жинетт он делал вид, что очень доволен. Я старался убедить Филмора уехать в Америку, но он не хотел об этом слышать. Он считал, что это ниже его достоинства — позволить неграмотным крестьянам выгнать его из Франции.

266

— Ты же можешь поехать в Бельгию на некоторое время, — предложил я.

— А как насчет денег? — спросил он. — В этих проклятых странах надо иметь право на работу.

— А что, если тебе жениться, а потом получить развод?

— В это время родится ребенок. Кто будет смотреть за ним?

— Откуда ты знаешь, что у нее вообще будет ребенок? — спросил я, решив, что наступило время выложить карты на стол.

— Как откуда? — переспросил Филмор, не понимая, на что я намекаю.

Я коротко пересказал ему все, что говорила Ивett. Он слушал в полной растерянности, но вдруг перебил меня:

— Не стоит об этом. У нее будет ребенок — я чувствовал, как он шевелился. А Ивett — стерва. Я не хотел говорить этого раньше, но перед больницей я подкидывал ей деньги. Потом крах на бирже — и мое положение изменилось. Тогда я решил, что сделал достаточно для обеих и теперь буду думать только о себе. Это привело Ивett в бешенство. Она сказала Жинетт, что рассчитается со мной... Я бы хотел, чтобы то, что она говорит, оказалось правдой — тогда мне было бы легче вывернуться из этой истории. Но я попал в западню. Я

267

обещал жениться на Жинетт, и я должен это сделать. Не знаю, что потом со мной будет. Но сейчас, как говорится, они держат меня за яйца.

Вскоре Филмор снял номер в той же гостинице, где жил я, и хочешь не хочешь, а мне приходилось видеть и его и Жинетт по несколько раз в день. Помню, как однажды в воскресенье, позавтракав, мы перебралились в кафе на углу бульвара Эдгара Кине. На этот раз ничто не предвещало ссоры. Мы нашли столик и сели спиной к зеркалу. У Жинетт, очевидно, случился приступ страсти, и она начала сентиментальничать, обнимая и целуя своего Жо-Жо на глазах у всех. Впрочем, для французов это совершенно естественно. Едва они кончили обжиматься, как Филмор вдруг сказал что-то о родителях Жинетт. Она истолковала это как оскорбление и побагровела. Мы старались успокоить ее. Объясняли, что она не поняла слов Филмора, и тут Филмор прошептал мне по-английски, что я ее умаслил. Этого было довольно — Жинетт решила, что мы издеваемся над ней, и пришла в бешенство. Я слегка повысил голос, но это разозлило Жинетт еще больше. Филмор пытался ее успокоить. "Ты слишком вспыльчива, дорогая", — сказал он и поднял руку, чтобы погла-

268

дить ее по щеке. Но она, решив, что он хочет дать ей пощечину, развернулась и треснула его по скуле своим увесистым, мужицким кулаком. От неожиданности Филмор замер, побледнел, потом встал и залепил Жинетт такую оплеуху, что она чуть не слетела со стула. "Вот тебе! Может быть, научишься вести себя прилично!" — проговорил он на своем ломаном французском. Наступила мертвая тишина. Потом, точно буря, Жинетт налетела на него, схватила стакан и что есть силы швырнула в голову Филмора. Стакан ударился о зеркало. Филмор уже поймал Жинетт за руку, но она свободной рукой хрястнула об пол кофейную чашку. Жинетт рвалась из наших рук как бешеная. Мы еледерживали ее. Между тем хозяин кафе подбежал к нам и велел немедленно убираться. "Бродяги!" — кричал он. "Да, да! Бродяги!" — завизжала Жинетт. — Грязные иностранцы! Бандиты! Гангстеры! Бить беременную женщину! Тут же на нас уже окрысились все присутствующие. Как же — бедная француженка с двумя американскими бандитами. Гангстерами. Я начал соображать, как бы нам выбраться отсюда без мордобития. Филмор тоже испугался и стал тише воды, ниже травы. Жинетт бросилась из кафе и оставила нас расхлебывать заваренную ею кашу. Но на по-

269

роге она обернулась, подняла кулак и заорала:

"Я еще рассчитаюсь с тобой, сволочь! Да ни один иностранец не станет так обращаться с приличной француженкой! Нет уж! Никогда в жизни!"

Слыши все это, хозяин, которому уже уплатили и за выпитое и за разбитое, решил, что настало время выказать себя рыцарем и вступиться за прекрасную представительницу слабого пола Франции. Без лишил

церемоний он плонул нам под ноги и вытолкал в шею, крикнув: "А ну валите отсюда, недоноски!" Или что-то в этом роде.

Оказавшись на улице и обнаружив, что никто ничего в нас не кидает, я рассмеялся. Вот было бы здорово, подумал я, разобрать это дело в суде. Со всеми подробностями, включая показания Ивett. Ведь у французов есть чувство юмора. Может, судья, услыхав рассказ Филмора, освободил бы его от обязательства жениться на этой шлюхе.

Между тем Жинетт стояла на другой стороне, размахивая кулаками и продолжая вопить диким голосом. Прохожие останавливались послушать и высказывали свою собственную точку зрения, как это бывает во время уличных скандалов. Филмор не знал, что ему делать, – уйти прочь или, наоборот,

270

подойти к Жинетт и попробовать с ней помириться. Он стоял, размахивая руками и стараясь вставить хотя бы слово. Но Жинетт продолжала осыпать его комплиментами:

'Тангстер! Подлец! Ты еще меня попомнишь, сволочь!' – и т.д. и т.п. Все же он решился к ней подойти, но она, думая, что он снова ударит ее, засеменила по улице. Филмор вернулся ко мне. "Давай пойдем за ней тихо..." Мы двинулись за Жинетт, а за нами увязались зеваки. Время от времени Жинетт останавливалась, оборачивалась и грозила нам кулаками. Мы не пытались ее догнать – просто лениво следовали за ней, чтобы посмотреть, что она будет делать дальше. Наконец Жинетт замедлила шаг и перешла на нашу сторону. Кажется, она успокоилась. Расстояние, разделявшее нас, сокращалось, и теперь за нами следовало не больше дюжины любопытных; остальные потеряли интерес. На углу Жинетт остановилась в ожидании. "Я сам поговорю с ней, – сказал Филмор. – Я знаю, как с ней обращаться". Когда мы подошли к Жинетт, по ее щекам текли слезы. Но все же я понятия не имел, чего теперь можно от нее ждать. Меня несколько удивило, когда Филмор сказал с обидой в голосе: "Думаешь, это очень красиво? Почему ты так себя вела?" Тут Жинетт обняла

271

его за шею и, прижавшись к его груди, заплакала, как ребенок, называя Филмора разными ласковыми именами. Но вдруг, повернувшись ко мне, сказала: "Ты видел, как он ударил меня? Разве можно так обращаться с женщиной?" Я собрался было уже ответить "можно", но тут Филмор взял ее за руку и строго сказал:

"Довольно. Не валяй дурака... или я опять дам тебе затрещину прямо здесь, на улице".

На мгновение мне показалось, что все начинается сначала. В глазах Жинетт сверкнул огонь, но, очевидно, она была напугана и быстро затихла. Тем не менее, когда мы опять сели в кафе, она с мрачным спокойствием заявила Филмору, что это еще не конец, пусть он не надеется, и что остальное она доскажет ему попозже... может, даже сегодня вечером.

Она сдержала слово. На следующий день лицо и руки Филмора были в царапинах. По его словам, Жинетт дождалась, когда он ляжет, подошла к платянему шкафу, вытащила все его вещи, бросила на пол и стала методично рвать. Такое уже случалось, но так как Жинетт потом всегда зашивала порванное, Филмор не обратил на ее выходку внимания. Это-то ее и разозлило, и она отдала его ногтями, причем весьма успешно. То, что она беременна, давало ей некоторое преимущество.

272

Бедный Филмор! Ему было уже не до смеха. Эта девка его просто терроризировала. Если он грозился сбежать, она в ответ грозилась убить его. И заявляла об этом таким тоном, что было ясно – она действительно это сделает. "Если ты уедешь в Америку, – говорила Жинетт, – я поеду за тобой и найду тебя! Ты никуда от меня не скроешься! Француженка мстит до конца!"

Их затяжное сражение продолжалось с переменным успехом несколько недель. Я старался избегать их. Мне все это надоело и было противно смотреть на обоих. В один прекрасный летний день я шел мимо банка "Креди Лионне" и вдруг увидел Филмора, который как раз выходил оттуда. Я поздоровался с ним приветливей, чем обычно, – мне было стыдно, что я избегал его так долго. С понятным любопытством я спросил его, как дела. Филмор отвечал уклончиво, но чувствовалось, что он в отчаянии.

– Она позволила мне пойти в банк, – сказал он странным, дрожащим голосом. – У меня всего полчаса, не больше. Она следит за каждым моим шагом. – Он схватил меня за руку, как бы стараясь увести от этого места.

– Не знаю, что делать, – сказал он тихо. – Ты должен мне помочь. Сам я ничего не могу. Не могу даже собраться с мыслями. Если бы я избавился от нее хоть ненадолго, я бы пришел

273

в себя. Но она не отпускает меня ни на минуту. Она позволила мне пойти только в банк, за деньгами. Но я все-таки пройдусь с тобой немного, а потом побегу обратно – у нее уже готов обед.

Слушая Филмора, я думал, что действительно кто-то должен вытащить его из этой ловушки. Он был совершенно беспомощен, без тени самостоятельности, точно ребенок, которого каждый день бьют и который уже не знает, как ему себя вести, а просто дрожит и пресмыкается. Когда мы вошли в длинный пассаж Риволи, Филмор разразился злобной антифранцузской тирадой. Французы опротивели ему.

Возле "Пале-Рояль" я предлагаю Филмору зайти в бистро и выпить. Он колеблется. Я вижу, что он думает о Жинетт, об обеде, о скандале, который она ему закатит.

– Черт подери, – говорю я. – Забудь ты о ней на минуту. Я закажу что-нибудь, и я хочу, чтобы ты со мной выпил. Не беспокойся, я вытяну тебя из этой идиотской истории. – И с этими словами я заказываю два двойных виски.

Увидев виски, Филмор заулыбался, как ребенок.

– Пей! – говорю я. – И мы закажем еще. Это тебе не повредит. Забудь все, что наговорили

274

тебе доктора; виски – это как раз то, что тебе сейчас нужно. Пей до дна!

– Довольно валять дурака. Выкладывай все начистоту. Что бы ты хотел сейчас сделать? Говори!

Из его глаз брызгают слезы, и он выпаливает:

– Я хочу домой, к своим. Хочу, чтобы вокруг меня опять говорили по-английски!

Теперь уже слезы текут у него по щекам ручьями, и он даже не смахивает их. Все, что накопилось у него на душе, изливается наружу. Вот это здорово, думаю я про себя. Это – настоящее очищение. Как хорошо позволить себе быть полным трусом хотя бы один раз в жизни. И не стесняться этого. Право, это прекрасно! Просто великолепно! Глядя на потерявшего самообладание Филмора, я вдруг почувствовал, что для меня нет ничего невозможного. Я был смел и решителен. В голове у меня роились тысячи идей.

– Послушай, – начал я, наклоняясь еще ближе к Филмору. – Если все, что ты говоришь, правда, почему бы тебе не уехать? Знаешь, что бы я сделал на твоем месте? Уехал бы прямо сегодня. Точно... Уехал бы сейчас же, даже не попрощавшись с ней. Вообще, это единственная возможность. Если она тебя снова увидит, то уже не выпустит. Ты и сам знаешь.

275

Гарсон принес нам по второй порции виски. И я видел, с какой отчаянной решимостью Филмор схватил стакан и поднес его к губам. В его глазах блеснула надежда – еще отдаленная, дикая, невероятная. Может быть, ему виделось, как он вплавь пересекает Атлантику. Мне же предстоящая операция казалась парой пустяков. В голове у меня все выстраивалось ясно и четко, от первого шага до последнего.

– Чьи деньги у тебя в банке? – спросил я. – Ее отца или твои?

– Мои! – воскликнул он. – Мне их прислала мать. Я не хочу ее сволочных денег!

– Отлично, – сказал я. – Теперь слушай. Мы возьмем такси и поедем в банк. Забирай все до последнего гроша. Потом мы поедем в английское консульство и поставим визу. Ты сегодня же садишься в поезд и едешь в Лондон, а из Лондона первым же пароходом в Америку. В этом случае не надо будет волноваться, что Жинетт тебя выследит. Ей не придет в голову, что ты поехал через Лондон. Если она погонится за тобой, то, естественно, кинется сначала в Гавр, потом в Шербур... И еще одно – забудь про свои вещи. Оставь все у нее. Пусть она ими подавится. С ее французской психологией ей не придет в голову, что человек может уехать без вещей. Это же неверо-

276

ятно. Француз не может этого сделать... если он не сумасшедший, как ты.

– Правильно! – вскричал Филмор. – А я-то не додумался! Ты же можешь прислать мне их потом – если она их отдаст! Впрочем, это сейчас не важно. Но... Боже мой, у меня нет даже шляпы!

– Зачем тебе шляпа? В Лондоне купить все, что понадобится. А сейчас поехали. Нам надо узнать, когда уходит поезд.

– Послушай... – сказал он, вынимая бумажник. – Можно я тебя попрошу? Возьми деньги и сделай все что надо. У меня нет сил... Голова кружится.

Я взял бумажник и выгрузил все ассигнации, которые Филмор только что получил в банке. У тротуара стояло такси. Мы сели в него. Поезд уходил с Северного вокзала около четырех часов. Я стал прикидывать в уме. Банк, консульство, "Америкен экспресс", вокзал, Чудно! Все можно успеть.

– Только не падай духом! – сказал я. – Главное – спокойствие. Черт возьми, через несколько часов ты уже переплыешь Ла-Манш. Сегодня вечером ты будешь гулять по Лондону и слушать свой английский язык. А завтра выйдешь в открытое море, и тебе будет начинать на весь свет. К тому времени, когда ты приедешь в Нью-Йорк, все забудется, как плохой сон.

277

Филмор ужасно взъерошивался и начал конвульсивно сгибать и разгибать ноги, как будто хотел бежать прямо в такси. В банке у него так дрожали руки, что он едва расписался. Этого я за него не мог сделать – поставить его подпись. Но если б понадобилось, я посадил бы его на горшок и подтер ему задницу. Я твердо решил отправить парня – даже если придется сложить его, как перочинный нож, и запихать в чемодан.

В английском консульстве был обеденный перерыв до двух часов. Чтобы как-то убить время, я предложил Филмору пообедать. Я повел его в уютный маленький ресторан и заказал хороший обед и самое лучшее вино, не думая о цене и вкусе. У меня в кармане лежали все его деньги – куча денег, как мне казалось.

Когда мы приехали в "Америкен экспресс", времени оставалось в обрез. У англичан – разумеется, по-английски медлительных и обстоятельных – мы сидели как на иголках. Здесь же все скользили, словно на роликах. Они так спешили, что все приходилось делать по два раза. Когда чеки были подписаны и скреплены в аккуратную маленькую книжечку, обнаружилось, что Филмор расписался не в том месте. Ничего не оставалось, как начать все сначала.

278

От волнения мы забыли разменять все деньги. Но мы уже сидели в такси, и каждая минута была на счету. Теперь надо было выяснить наше финансовое положение. Мы быстро извлекли деньги из карманов и начали их делить. Часть денег упала на пол, часть лежала на сиденье. Мне захотелось собрать монеты и побросать их в окно, чтобы упростить дело. В конце концов мы все рассортировали;

он взял английские и американские деньги, а я – французские.

Надо было быстро решить, что делать с Жинетт – сколько ей оставить денег, что ей сказать и т.д. Он все плел какую-то ахинею, которую я должен был ей передать, – он, мол, не хотел делать ей больно и тому подобное. Пришлось его оборвать:

– Не думай о том, что сказать Жинетт. Положись на меня. Реши только, сколько ты хочешь ей оставить. Кстати, а зачем вообще ей что-нибудь оставлять?

Филмор подскочил, как будто у него под сиденьем взорвалась бомба, и зарыдал. Я никогда не видел таких слез! Прежние слезы не шли ни в какое сравнение. Я боялся, что он сейчас упадет в обморок. Не задумываясь, я выпалил:

– Хорошо, давай отдадим Жинетт все французские деньги. Этого ей на какое-то время хватит.

279

– А сколько там? – спросил Филмор слабым голосом.

– Не знаю точно... около двух тысяч франков. Во всяком случае, больше, чем она заслуживает.

– Ради бога, не говори так! – застонал он. – В конце концов, я поступаю с ней как подлец. Родители никогда не возьмут ее обратно. Нет, отдав ей все – все до последнего гроша... сколько бы там ни было.

Я молчал. Неожиданно Филмор вытянулся во весь рост – мне показалось, что у него какой-то приступ, – и сказал:

– Нет, я должен ехать назад... Пусть делает со мной что хочет... Если с ней что-нибудь случится, я никогда себе этого не прощу...

Для меня это прозвучало как гром с ясного неба.

– Ты с ума сошел! – завопил я. – Не смей! Теперь уже слишком поздно. Ты должен ехать, а я о ней позабочусь. Я отправлюсь к ней прямо с вокзала. Неужели ты не понимаешь, идиот несчастный: если она узнает, что ты пытался сбежать от нее, она с тебя живого спустит шкуру! Для тебя уже нет пути назад. Все кончено.

Когда мы подкатили к вокзалу, до отхода поезда оставалось еще двенадцать минут. Я решил не покидать Филмора до конца. Он был в таком состоянии, что я не удивился бы,

280

если бы в последний момент он выпрыгнул из вагона и побежал к Жинетт. Любая мелочь могла стать той самой соломинкой и свести на нет все мои усилия. Я потащил его в бар напротив вокзала.

– Сейчас ты выпьешь перно – твое *последнее* перно. А я заплачу за него... *твоими* деньгами.

Он посмотрел на меня с сомнением, сделал большой глоток, а потом, повернувшись ко мне, как побитая собака, сказал:

– Я знаю, что не следует доверять тебе все эти деньги, но... но... Ладно, делай все, как ты считаешь нужным. Я не хочу, чтобы она покончила с собой.

– Покончила с собой? – переспросил я. – Только не она! Ты слишком высокого о себе мнения, если можешь даже вообразить нечто подобное. А насчет денег... Мне противно отдавать ей эти деньги, но я тебе обещаю, что немедленно зайду на почту и переведу их ей телеграфом. Я не хочу таскать эту кучу денег с собой... – Увидев на прилавке вертушку с открытками, я вытащил одну – с Эйфелевой башней – и заставил Филмора нацарапать несколько слов. – Напиши ей, что ты сейчас отплываешь. Напиши, что ты ее любишь и вызовешь ее, как только приедешь в Америку... Я отправлю пневматической городской

281

почтой. А вечером я ее увижу. Не беспокойся... все будет хорошо.

Мы вернулись на вокзал. Оставалось две минуты до отхода поезда. Я чувствовал, что опасность миновала. Подведя Филмора к барьера, отделяющему пассажиров от провожающих, я хлопнул его по плечу. Я не пожал ему руки – он стал бы за меня цепляться. Я просто показал на поезд со словами: "Скорее! Сейчас отправится". И тут же пошел прочь. Я даже не оглянулся, чтобы убедиться, что он сел в поезд. Мне было страшно.

Во время всей этой возни с Филмором я не думал, что я буду делать, когда он уедет. – Я надавал ему разных обещаний, но все это было только для того, чтобы его успокоить. Однако я боялся Жинетт не меньше, чем Филмор. Если не больше. Мне становилось не по себе. Все случилось так быстро, что невозможно было как следует разобраться в происходящем. Я вышел с вокзала в каком-то приятном опьянении. В руках у меня была открытка. Остановившись возле фонаря, я прочел ее. То, что там было написано, звучало по-идиотски. Чтобы убедиться, что это не сон, я перечитал открытку еще раз, потом порвал ее и выбросил в канаву.

282

И тут же оглянулся, точно ожидая, что Жинетт появится из-за угла с томагавком в руках. Но никто за мной не гнался. Я зашагал по направлению к площади Лафайет.

Если Филмор в припадке сумасшествия не напишет Жинетт письмо с объяснениями, ей совершенно незачем знать, что произошло. И даже если она узнает, что он оставил ей две с половиной тысячи франков, у нее не будет ни малейшего доказательства. Я всегда могу сказать, что Филмор все это выдумал. Человек, который настолько ненормален, что может уехать в Америку даже без шляпы, легко может придумать историю с двумя с половиной тысячами франков да и вообще что угодно. Сколько же он все-таки оставил? Мои карманы были набиты деньгами. Я вытащил их и тщательно пересчитал. Две тысячи восемьсот семьдесят пять франков тридцать пять сантимов. Больше, чем я думал. Мне надо было избавиться от семидесяти пяти франков тридцати пяти сантимов. Я хотел иметь круглую сумму – две тысячи восемьсот. В этот момент к тротуару подъехало такси. Из него вышла дама, держа на руках белого пуделя, который мочился на ее шелковое платье. Мысль о том что собаку катают на такси, обозлила меня. "Я не хуже

пуделя", – подумал я. Подозвав такси, я влез в него и попросил шофера отвезти меня в Булонский лес. Он спросил, куда именно, и

[283](#)

я ответил: "Неважно. Просто покатайтесь меня и не торопитесь. У меня масса времени". Усевшись как можно удобнее, я смотрел на проплывавший мимо Париж – на дома, на зубчатые крыши, на трубы, на крашеные стены, на уличные уборные, на все эти артерии города. Проезжая мимо "Рон-Пуэн", я решил остановиться и зайти туда справить нужду. К тому же, не исключено, что я смогу кого-нибудь там подцепить. Я попросил шофера подождать меня. Первый раз в жизни меня ждала машина, пока я отправлял естественные надобности.

Я осмотрелся, но никто не привлек моего внимания. Мне хотелось чего-нибудь свежего, нетронутого – женщину с Аляски, скажем, или с Виргинских островов. Чистый, свежий товар с естественным ароматом. Конечно, ничего подобного я не нашел.

Когда мы подъехали к Порт-д'Отей, я попросил шофера подвезти меня к реке. Возле Севрского моста я вышел и пошел по берегу в сторону виадука.

Проходя мимо пивной под открытым небом, я увидел группу велосипедистов, сидящих за столом. Я сел рядом с ними и заказал кружку пива. Слушая их болтовню, я вспомнил Жиннетт и представил себе, как она мечется по комнате, рвет на себе волосы, рыдает и мычит – я это уже не раз видел. Я представил

[284](#)

себя шляпу Филмора, висящую на гвозде, и стал думать, придутся ли мне впору его костюмы и пальто. Его пальто реглан мне особенно нравилось. Филмор сейчас далеко. Скоро под ним будет качаться корабль. Английский язык! Он соскучился по английскому языку! Надо же придумать такое!

Неожиданно я вдруг сообразил, что если бы мне захотелось, то и я мог бы уехать в Америку. В первый раз мне представилась такая возможность, и я спросил себя: "Ты хочешь уехать?" И не получил ответа. Мои мысли унеслись в прошлое, к океану, к другим берегам, к небоскребам, которые я видел последний раз исчезающими под сеткой мелкого снега. Я вообразил, как они снова наползают на меня, вообразил тот напор, который так ужасал меня в них. Я видел огни, пробивающиеся между их ребрами. Видел весь этот огромный город, раскинувшийся от Гарлема до Баттери, улицы, кишащие муравьями, стремительные поезда надземки, толпу, выходящую из театров. На секунду я вспомнил свою жену – где она? Что с ней стало?

От всех этих мыслей на меня снизошел тихий мир. Тут, где эта река так плавно несет свои воды между холмами, лежит земля с таким богатейшим прошлым, что, как бы далеко назад ни забегала ваша мысль, эта земля всегда была и всегда на ней был человек. Перед

[285](#)

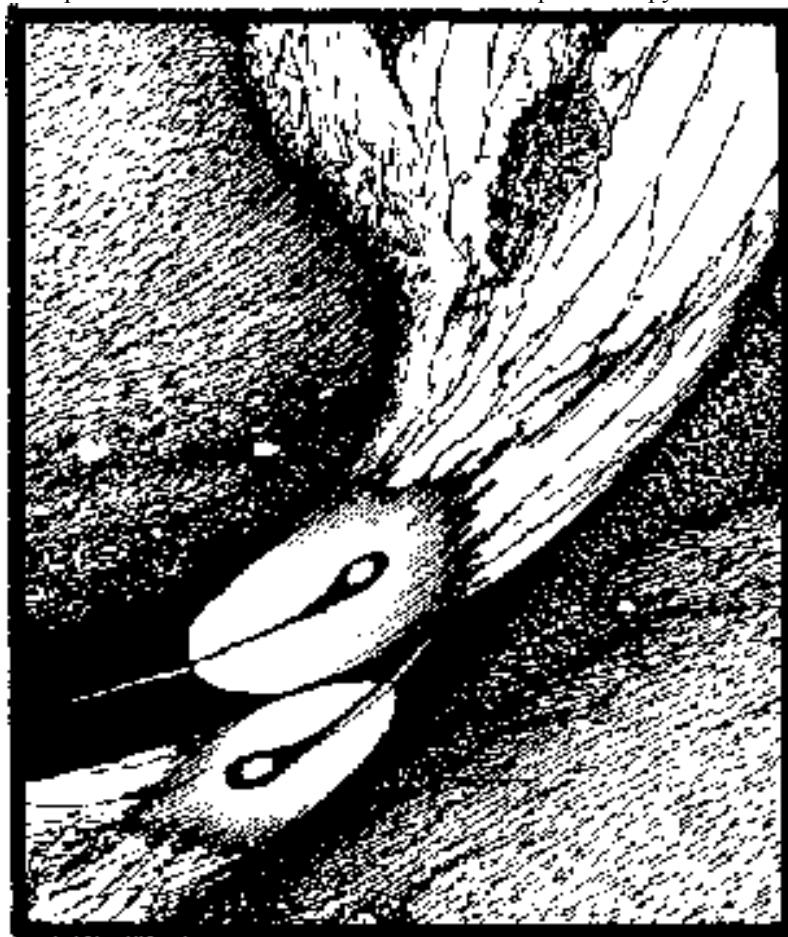


моими глазами в солнечной дымке течет и дрожит золотой покой, и только безумный невротик может от него отвернуться. Течение Сены здесь так спокойно, что его замечаешь с трудом. Оно лениво и сонно, а сама Сена – точно огромная артерия человеческого тела. В той тишине, которая снизошла на меня, дне

казалось, что я взобрался на высокую гору и у меня появилось наконец время, чтобы осмотреться крутом и понять значение того ландшафта, что развернулся под моими ногами.

Двуногие существа представляют собой странную флору и фауну. Издали они незначительны; вблизи – часто уродливы и зловредны. Больше всего они нуждаются в пространстве, и пространство даже важнее времени.

Солнце заходит. Я чувствую, как эта река течет сквозь меня – ее прошлое, ее древняя земля, переменчивый климат. Мирные холмы окаймляют ее. Течение этой реки и ее русло вечны.



Электронная версия книги: [Янко Слава](#) (Библиотека Fort/Da) || slavaaa@yandex.ru ||
yanko_slava@yahoo.com || <http://yanko.lib.ru> || Icq# 75088656 || Библиотека:
<http://yanko.lib.ru/gum.html> || Номера страниц - внизу
update 06.05.07
